Пров. 1958

СОЦІАЛИЗМЪ И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ.

Проблема свободы—это безспорно одна изъ самыхъ трудныхъ и сложныхъ проблемъ. Когда ее берутся рѣшать практически,—льются потоки крови, (вспомнимъ французскую революцію!) Когда въ нее углубляются теоретически,—то заходятъ въ такія дебри умозрѣнія, что становится труднымъ связать исходные пункты разсужденія съ результатами.

Каково отношеніе соціализма къ этой проблемѣ? Считается ли онъ съ ея сложностью? Видитъ ли онъ ея коренную трудность?

Задача моей статьи—отвѣтить на эти вопросы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Про соціалистическій строй Энгельсъ говоритъ такимъ образомъ: „тогда люди будутъ сознательно творить исторію, тогда дѣйствующія общественныя силы дадутъ желаемый сознательный результатъ. *Это переходъ человѣчества изъ царства необходимости въ царство свободы*“. Одно изъ теченій соціалистической мысли, анархизмъ, говоритъ о свободѣ еще рѣшительнѣе и энергичнѣе. Ему мало свободы соціализма; Маккай говоритъ о періодѣ осуществленія соціализма въ такихъ презрительныхъ словахъ: „это будетъ скучный періодъ обыденности, нивеллированія въ смирительной рубашкѣ равенства, періодъ взаимнаго

контроля, мелкихъ раздоровъ вмѣсто великой борьбы, безпрерывныхъ переворотовъ... Четвертое сословіе станетъ тогда третьимъ, рабочій классъ „подымется“ до класса буржуазіи и будутъ носиться отличительные признаки: будничность дней, фарисейское довольство, сытыя добродѣтели! И тогда-то возстанутъ истинные революціонеры, великіе и сильные борцы за свое собственное „я“.

То освобожденіе, которое принесетъ анархизмъ, будетъ уже окончательнымъ. Нашъ „идеалъ“, говоритъ Реклю, „обнимаетъ будущее *во всей его полнотѣ*, ибо друзья и враги всѣ знаютъ, что дѣло идетъ уже не о большихъ частичныхъ революціяхъ, а объ одной общей революціи, которая преобразуетъ все общество во всѣхъ его проявленіяхъ“. Поэтому Реклю договаривается даже до идеи *абсолютной свободы*. Онъ говоритъ: „нашъ идеалъ состоитъ въ требованіи для всякаго человѣка *полной абсолютной свободы* выражать свои мысли во всемъ“.

Эту же мысль объ абсолютной свободѣ подхватываетъ и Боровой. Онъ говоритъ: „центральной идеей анархизма является *конечное* освобожденіе личности“. „Во всякой правительственной формѣ, во всякой организаціи власти, анархизмъ видитъ насиліе и протестуетъ противъ нихъ во имя *абсолютной* личной свободы“.

Переходъ изъ царства необходимости въ царство свободы и конечное освобожденіе личности—вотъ что является такимъ образомъ верховной и главной цѣлью соціализма и анархизма.

Я вѣрю, что это дѣйствительно такъ. Къ свободѣ стремятся всѣ великіе представители соціализма и анархизма. На желаніи дѣйствительной свободы покоится ихъ страстная, проникнутая скрытымъ огромнымъ моральнымъ паѳосомъ критика существующаго строя. Свобода—это одна изъ тѣхъ основныхъ идей соціализма, которыя сильнѣе всего приковываютъ къ нему симпатіи массъ, и привлекаютъ къ нему съ каждымъ годомъ все больше и больше силъ и сторонниковъ изъ подростающихъ поколѣній.

Это—живой нервъ всего соціалистическаго движенія. Вотъ почему особенно важно напрячь всѣ свои силы,

чтобы выяснить: что изъ себя представляетъ свобода, къ которой ведутъ человѣчество соціализмъ и анархизмъ? можетъ ли она удовлетворить человѣка вполнѣ? чего же хотятъ люди, когда ихъ озаряетъ мечта о полной, универсальной свободѣ? Въ какомъ отношеніи *эта* свобода находится къ свободѣ соціализма или анархизма?

Прежде всего, установимъ одну элементарную истину, которую обходятъ самымъ безжалостнымъ образомъ. Эта истина не нова. Ее не разъ выдвигали сторонники свободы воли въ философской полемикѣ съ детерминизмомъ, въ полемикѣ, которая въ исторіи философіи возгоралась и утихала нѣсколько разъ. Я не пущусь въ метафизическія размышленія и не стану доказывать свободна ли воля человѣческая. Я хочу только подчеркнуть одну безспорную мысль.

Всѣ литературные выразители соціалистическихъ или анархистическихъ доктринъ, стоятъ на почвѣ теоретическаго позитивизма. Позивитивизмъ, все доступное человѣческому познанію, подчиняетъ закону причинной обусловленности. Все, что мы знаемъ, имѣетъ свои причины, хотя бы причинъ этихъ мы не знали. Душевный міръ такъ же крѣпко и во всѣхъ частяхъ своихъ скованъ закономъ причинности, какъ и міръ физическій. Форма психической обусловленности иная, нежели форма физической обусловленности, но сущность та же. Здѣсь дѣйствуютъ причины внѣшнія, въ формѣ толчковъ. Тамъ дѣйствуютъ причины внутреннія, въ формѣ мотивовъ. Мотивы можно не сознавать. Они могутъ быть неуловимыми и не поддающимся констатированію, но они всегда есть, ибо дѣйствій безъ причины не бываетъ. Но то, что причинно-обусловлено—необходимо. И потому все въ психическомъ мірѣ человѣка свершается съ необходимостью. Молюсь ли я, свершаю ли подлость, творю ли геніальное произведеніе, или, какъ тряпка, подчиняюсь окружающей обстановкѣ, во всякой обстановкѣ, во всѣхъ случаяхъ жизни я автоматъ. Я никогда не могу поступить иначе, чѣмъ поступаю. Я хочу,—но мое хотѣніе обусловлено. Я стремлюсь, но мое стремленіе имѣетъ всегда свою причину, и я могу стре-

миться только туда, куда я стремлюсь, хотѣть только того, чего я хочу. Въ результатѣ,—я *психическій механизмъ*. Во мнѣ происходитъ сцѣпленіе причинъ и дѣйствій, мнѣ *кажется*, что я что-то дѣлаю, чего-то хочу, на-что-то негодую, чѣмъ то возмущаюсь, но это *иллюзія*. *Я тутъ не причемъ*. Во мнѣ *что-то* дѣлается, что-то возмущается и негодуетъ, и все это свершается съ необходимостью, отъ меня не зависящей. Если представить, что механизмъ этотъ испортится, то я могу, какъ фальшивящая шарманка, негодовать, когда нужно смѣяться, или мучаться совѣстью, не совершивъ ничего преступного. Все—необходимо. Свобода принципіально для меня невозможна.

Спрашивается, о какомъ же *освобожденіи* могутъ говорить тѣ, кто стоитъ на точкѣ зрѣнія *принципіальной* недопустимости свободы? Если мы автоматы, если мы механизмы, то мы останемся такими же автоматами, такими же механизмами и тогда, когда соціализмъ принесетъ свою свободу, а анархизмъ свою. Все освобожденіе тогда является *иллюзорнымъ*. У насъ не свобода будетъ увеличиваться, а расти наша иллюзія. А такъ какъ иллюзія есть несомнѣнная ложь, то значитъ будетъ расти наша ложь. Живетъ народъ подъ игомъ абсолютизма; его сковываетъ желѣзными путами бюрократія. Онъ подчиняется не своимъ желаніямъ, а волѣ ничтожной кучки людей. Что, *свободу* принесетъ ему позитивная революція, которая сниметъ съ плечъ его ярмо тиранніи? Какая же это будетъ свобода, если по-прежнему у него не будетъ собственныхъ желаній, по-прежнему у него не будетъ воли и по-прежнему онъ съ необходимостью, неизбѣжно будетъ опредѣляться къ тѣмъ или инымъ поступкамъ, къ той или иной формѣ жизни безжалостнымъ сцѣпленіемъ причинъ и слѣдствій, комбинаціей различныхъ мотивовъ? Какая разница между рабствомъ тѣмъ и другимъ?

По-существу, съ точки зрѣнія идеи *свободы*—никакой. И въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ безвольный автоматъ. Онъ пѣшка, которую передвигаютъ въ разныя стороны какія-то силы, отъ него независящія; онъ—рабъ мотивовъ, онъ—покорный слуга тѣхъ условій, въ которыхъ живетъ.

Разница, конечно, есть, и разница огромная.

При тиранніи его существованіе нудное и тяжелое. Его эксплоатируютъ, его мучатъ, унижаютъ, истязуютъ. Вся его жизнь — страданіе. Когда же тираннія государства и тираннія капитала будутъ свержены, — онъ перестанетъ эксплоатироваться. Никто его внѣшнимъ физическимъ страданіемъ мучать не станетъ. Онъ будетъ сытъ, доволенъ и вся его жизнь будетъ радостной и счастливой. Положимъ, что будетъ дѣйствительно такъ. Но вѣдь это будетъ разница не съ точки зрѣнія *свободы*. Нужно вещи называть собственными именами. Жизнь станетъ тогда гораздо *счастливѣе*, чѣмъ сейчасъ, въ ней будетъ гораздо меньше страданій, но *свободы* въ ней не прибавится ни на іоту. Механизмъ останется механизмомъ все равно, будетъ ли онъ механизмомъ счастливымъ или механизмомъ несчастливымъ. Автоматъ останется автоматомъ, все равно завинтили ли его пѣть „марсельезу“ или „Боже Царя храни“. Но тогда, о какомъ же *освобожденіи* можетъ итти рѣчь? Нѣтъ! Въ такомъ случаѣ пусть говорятъ о довольствѣ, радости, веселіи, сытости, но пусть не смѣютъ употреблять великаго слова „свобода“.

Тутъ двухъ дорогъ быть не можетъ. Если мы стремимся къ дѣйствительному освобожденію, если переживаніе свободы есть для насъ безусловно данное, если мы хотимъ свободы такимъ сильнымъ желаніемъ, что безъ нея не примемъ никакой жизни, не согласимся ни на какую самую золоченую клѣтку,—то очевидно, или мы должны освободиться прежде всего отъ всякаго позитивизма, принципіально превращающаго человѣка только въ раба и вѣчную пѣшку, сбросить съ себя путы, которыя хотятъ сдѣлать насъ, свободныхъ людей, механизмами и автоматами, или же мы должны принципіально признать, что реальное освобожденіе невозможно; но тогда игра въ освобожденіе должна стать невозможной для сознательныхъ людей, и мы не смѣемъ уже плодить иллюзіи, кормить завѣдомымъ обманомъ простодушныя головы массъ. Мы тогда честно должны сказать въ глаза всѣмъ униженнымъ, придавленнымъ и ждущимъ освобожденія: Господа! Никакой свободы никогда, нигдѣ и ни

въ чемъ не будетъ. Наука и философія доказали, что мы пѣшки и автоматы и всегда при всѣхъ условіяхъ останемся только пѣшками. Мы васъ накормимъ, утолимъ вашу жажду, но свободы никакой никогда не дадимъ"!...

Есть два типа позитивистовъ. Одни позитивисты душой, другіе — позитивисты мозгомъ. Первые ни за что никогда не откажутся отъ своихъ теорій. Они будутъ твердо стоять на своемъ пустомъ мѣстѣ. Они *хотятъ* той теоретической клѣтки, въ которой сидятъ. Они *любятъ* серединность, обыденность и отсутствіе горизонтовъ, вытекающія изъ ихъ теорій. Жизни широкой, вольной, съ безконечнымъ размахомъ они боятся, какъ птицы ночныя боятся восхода солнца. Свободы они не желаютъ. Бытію они предпочитаютъ небытіе. Или, во всякомъ случаѣ, они предпочитаютъ мутную мертвенную воду изъ потока бываніе—чистой, животворящей водѣ изъ бездонныхъ глубей истинной жизни. У Пругавина въ „Монастырскихъ тюрьмахъ" приводится такой случай: какой-то несчастный сидитъ въ казематѣ цѣлыхъ 56 лѣтъ. Все человѣческое въ немъ исчезаетъ. Онъ обращается въ немощное безсильное существо, лишенное всякой жизни и всякаго движенія. Черезъ 56 лѣтъ сидѣнія приходитъ распоряженіе его выпустить. Снимаютъ запоры и говорятъ, что онъ можетъ итти, куда хочетъ. Но онъ ужъ не понимаетъ. Его насильно выводятъ изъ ямы, въ которой сидѣлъ онъ, на солнечный свѣтъ, но онъ жалкій, несчастный, такъ боится простора, свѣта и жизни, что съ какимъ-то жалобнымъ животнымъ стономъ *лѣзетъ снова въ яму*, гдѣ просидѣлъ заключеннымъ всю свою жизнь. Онъ такъ привыкъ быть заключеннымъ, что свободы уже больше не хочетъ. Вотъ истинный образъ душевныхъ позитивистовъ. *Свободы* они не хотятъ. Оттого имъ и не душно въ позитивизмѣ. Оттого они и не хотятъ измѣненій въ основныхъ линіяхъ жизни. Они хотятъ только реформы въ режимѣ. Болѣе строгій тюремный режимъ, при которомъ кандалы—капиталъ, государство,—врѣзаются слишкомъ больно въ руки и ноги, они мечтаютъ замѣнить либеральнымъ режимомъ, въ которомъ съ уничтоженіемъ государства и установленіемъ нормальной экономической организаціи, кандалы

будутъ обернуты мягкой ватой, такъ что боли уже больше не будетъ; но кандалы все же останутся кандалами, и духъ человѣческій останется вѣчнымъ узникомъ. Мечта о реформѣ режима—вотъ *предѣлъ* ихъ желаній. Эти люди — носители духа Антихриста. Изъ нихъ народится то стадо людей безъ человѣческихъ душъ, которое будетъ куплено хлѣбомъ. Они успокоятся, духъ ихъ угаснетъ, исканіе прекратится и они поклонятся человѣку, который религіей объявитъ стояніе на пустомъ мѣстѣ позитивной данности, который богомъ объявитъ себя. Поклонятся можетъ быть потому, что изъ боязни грядущей свободы, захотятъ объединиться,—всѣ рабы духа,—для того, чтобы отстоять оковы свои. Только что приведенный пругавинскій заключенный полѣзъ обратно въ мѣсто своего заключенія; какъ лѣзетъ въ кануру свою собака, если ее вызовешь случайно на холодъ. Но еслибъ этого несчастнаго стали снова выводить на свободу, стали стыдить его, онъ бы раздражился, превратившись въ животное, онъ сталъ бы злобно рычать и кусать тѣхъ, кто пришли его звать на свободу. Такъ и люди изъ стада Антихриста, позитивисты душой, не снесутъ пламенной проповѣди о свободѣ, которая раздастся изъ устъ возрожденной Церкви; они станутъ злобиться на эти призывы сорвать оковы, къ которымъ привыкли. Станутъ злобиться и объявятъ войну святымъ пророкамъ полнаго освобожденія человѣчества и, видя безсиліе свое, вызовутъ изъ темныхъ нѣдръ своего противленія Истинѣ, — Звѣря-Антихриста. Вотъ будущее душевнаго позитивизма. И поскольку въ соціализмѣ есть элементы, не только теоретическаго, но и душевнаго позитивизма, постольку соціализмъ дѣйствуетъ не въ сторону освобожденія человѣчества, а въ сторону самаго худшаго и низкаго духовнаго рабства;—постольку соціализмъ *работаетъ на Антихриста*.

Но есть позитивисты только въ теоріи. И такихъ большинство. Свобода для нихъ—самое священное, самое дорогое изъ всего на свѣтѣ. Она открывается имъ въ живыхъ пламенныхъ переживаніяхъ. Она вдохновляетъ ихъ на рѣчи, отъ которыхъ сотрясаются основы стараго міра. Изъ жажды этой, настоящей свободы они идутъ десятками и сотнями

на гибель; ихъ казнятъ, пытаютъ, сажаютъ въ тюрьмы, ссылаютъ въ тундры, но идея свободы, зажегшая ихъ души, торжествуя, находитъ новыхъ борцовъ,—преслѣдованія дѣлаютъ только болѣе жгучимъ, болѣе всепобѣждающимъ пламень, которымъ она зажигаетъ сердца своихъ избранниковъ. Это—святая сторона въ соціализмѣ. Это—дыханіе Церкви. Этимъ соціализмъ работаетъ на Христа. И люди, служившіе этой свободѣ, невѣдомо себѣ служили и служатъ грядущему возрожденію Церкви. Этимъ людямъ мы хотимъ сказать о другомъ. Пусть сознаютъ они, что нельзя служить двумъ господамъ. Нельзя проповѣдывать теорію рабства, превращать принципіально людей въ какія-то пѣшки, которыхъ будетъ двигать всегда что-то постороннее имъ и которые никогда не станутъ свободными, активными центрами,—и въ то же время пылать жаждой свободы истинной и практически нести людямъ освобожденіе. Тутъ опять нужно сказать: „Carthago est delenda ". Пока владычество Рима ограничивалось только Италіей, пока онъ внутренно росъ, готовясь къ своей послѣдующей всемірной роли, Карѳагенъ для него былъ не страшенъ. Онъ могъ не обращать вниманія на врага своего и не знать даже, что это врагъ. Но какъ только Римъ, выросши, сталъ превращаться въ міровую силу,—онъ долженъ былъ или склониться самъ передъ пунійцами, или безслѣдно стереть съ лица земли своего кровнаго врага. Или Римъ, или Карѳагенъ. Но вмѣстѣ они уже болѣе существовать не могли. Такъ точно обстоитъ дѣло и съ позитивизмомъ. Идея общественнаго освобожденія, лежащая въ основѣ соціализма, въ силу нелѣпѣйшей аберраціи мысли, которая была результатомъ *только* историческихъ условій, могла временно связывать себя съ теоретическимъ позитивизмомъ. Соціализмъ и позитивизмъ могли умѣщаться рядомъ въ сознаніи, не зная о томъ, какъ враждебны они другъ другу. Но теперь, когда соціализмъ переходитъ изъ инкубаціоннаго періода въ періодъ органическаго роста, когда онъ вступаетъ въ жизнь, и, можетъ-быть, въ недалекомъ будущемъ будетъ призванъ отвѣтить на всѣ вопросы сознанія и создать *универсальное* міровоззрѣніе, онъ долженъ сознать въ позитивизмѣ злѣйшаго врага той сво-

боды, которая является его верховной цѣлью и его главнымъ жизненнымъ нервомъ. Время, исторія безповоротно ставитъ дилемму: Если соціализму — позитивизмъ дороже свободы,—пусть онъ сознательно приметъ свой жребій, откажется отъ всѣхъ пустыхъ и обманчивыхъ обѣщаній освобожденія и идетъ туда, куда предназначено итти ему его рокомъ. Пусть онъ говоритъ только о хлѣбѣ, только о сытости, только о счастьѣ, только объ удовольствіяхъ, но всякое его слово о свободѣ—будетъ *обманомъ*.

Но если соціализму свобода дороже всего, если ему, дѣйствительно, наплевать на формы, лишь бы реальность была достигнута, лишь бы освобожденіе, дѣйствительно, было выполнено, — тогда Карѳагенъ позитивизма долженъ быть разрушенъ до основанія.

Или за позитивизмъ противъ свободы — тогда Антихристъ.

Или за свободу противъ позитивизма, — тогда Христосъ.

Христосъ... Но почему же Христосъ? Почему же не Кантъ? Почему не философія, которая теоретически обосновываетъ возможность и мыслимость свободы? Вѣдь при соединеніи практическаго соціализма съ трансцедентальной философіей Канта можно получить такое міровоззрѣніе, которое заполнитъ идеей подлинной свободы экономическое освобожденіе, проповѣдуемое соціализмомъ. Почему же говоритъ непремѣнно о христіанствѣ?

Этотъ вопросъ разрѣшается очень просто.

Въ философіи Канта проводится рѣзкая грань между царствомъ природы и царствомъ свободы, между міромъ явленій, подчиненныхъ закону причинности, и міромъ вещей въ себѣ, къ которымъ относится наша свобода. Эта грань настолько рѣзка, рѣшительна и принципіальна, что кантовская идея свободы абсолютно неспособна заполнить реальнымъ смысломъ освобожденіе, совершающееся во времени и пространствѣ. Между міромъ явленій и міромъ вещей въ себѣ нѣтъ никакого моста. Взаимодѣйствіе между ними принципіально не допускается. Нуменализація феноменовъ или,

говоря христіанскими терминами, реальное преображеніе этого міра *невозможны*.

Понятіе всемірно-историческаго *процесса*, въ которомъ совершается постепенное проникновеніе Логоса во всѣ элементы мірозданія, кантовскимъ міровоззрѣніемъ исключается. Тотъ міръ—самъ по себѣ. Этотъ—самъ по себѣ. Тотъ міръ пребываетъ въ вѣчно-статическомъ состояніи. Въ этомъ же мірѣ совершается всесторонняя эволюція. Но эта эволюція—эволюція только феноменовъ. Въ результатѣ этой эволюціи никогда не получится на мѣстѣ феноменовъ нумены. Какъ бы міръ явленій не измѣнялся, онъ всегда останется *только* міромъ явленій. И новаго неба отъ того, что дѣлается на землѣ никогда не получится. Мы свободны по Канту. Мы не пѣшки, не автоматы. Но мы свободны *всегда и при всякихъ условіяхъ*. Рабъ, прикованный къ ручной мельницѣ и работающій, какъ вьючное животное на какого-нибудь развратнаго патриція, свободенъ точно такой же свободой, какой свободенъ геніальный мыслитель, послушный только голосу своего непосредственнаго творчества. Какъ ни измѣняй внѣшнихъ условій, никогда отъ этого наша свобода не возрастетъ ни на іоту. Рабочія массы, объ освобожденіи которыхъ думаетъ соціализмъ, свободны уже сейчасъ трансцедентальной свободой. И этой свободы не увеличитъ ни на одинъ волосокъ освобожденіе изъ подъ гнета капитализма, путемъ осуществленія соціализма. Плоскость нашего міра окована желѣзнымъ кольцомъ закона причинности и *останется такой всегда*. Но разъ свобода не будетъ увеличиваться отъ того, что соціализмъ будетъ вести борьбу за освобожденіе, то освобожденіе это будетъ такимъ же *иллюзорнымъ*, какъ и освобожденіе, мыслимое въ міровоззрѣніи позитивномъ. *Реальнымъ* процессъ освобожденія быть не можетъ. Итакъ, признаемъ ли мы свободу Канта или не признаемъ, отъ этого въ самомъ *процессѣ* освобожденія, которымъ занятъ соціализмъ, ничего не прибавится, и ничего не убавится; отъ этого процессъ этотъ никакого отношенія къ реальному увеличенію человѣческой свободы имѣть не будетъ.

Такимъ образомъ или нужно отказаться отъ всякаго освобожденія, или же, если мы хотимъ заполнить реальнымъ

смысломъ это освобожденіе, — (а безъ этого какъ можемъ мы служить ему и отдавать ему свои лучшія силы?), мы должны покинуть и почву некритическаго позитивизма и почву критической, но пустой и не имѣющей отношенія къ жизни философіи Канта. Намъ нужно перейти на почву иныхъ представленій.

Когда говорятъ о свободѣ, всегда стараются этотъ труднѣйшій вопросъ теоретической философіи ставить *формально*. Въ извѣстномъ смыслѣ это правильно. Этотъ вопросъ столь сложный, что иначе нельзя было бы разрѣшить его дѣйствительно философски. Но ограничиться формальнымъ разсмотрѣніемъ вопроса нельзя. Нельзя потому, что устранить противорѣчія, связанныя съ кантовскимъ разрѣшеніемъ проблемы свободы, разрѣшеніемъ геніальнымъ и въ основѣ своей философски достаточнымъ, — можно только такимъ цѣлостнымъ міровоззрѣніемъ, въ которомъ всѣ идеи оцѣниваются и связываются во-едино не только со стороны своей формы, но и со стороны своего *содержанія*.

Идею свободы нужно разсмотрѣть со стороны ея внутренняго содержанія. Только тогда можно увидѣть ее въ томъ видѣ, когда между нею и жизнью будетъ не пропасть, а когда онѣ будутъ сливаться въ нѣчто органически-*единое*. А только при этомъ условіи, освобожденіе, которымъ задается соціализмъ, будетъ, дѣйствительно процессомъ реальнаго увеличенія въ этомъ такъ называемомъ „мірѣ явленій“ той подлинной свободы, которое корни свои имѣетъ въ *мірѣ вещей въ себѣ*.

Со стороны содержанія идею свободы можно расчленить на два раздѣльныхъ понятія.

Есть свобода *хотѣнія*[1]), и есть свобода *дѣланія*.

Свобода дѣланія немыслима безъ свободы хотѣнія. Она обширнѣе и содержательнѣе. Она есть продолженіе и завершеніе свободы хотѣнія. Но продолженіе столь необходимое,

---

[1]) Оговариваюсь, что свободу хотѣнія я понимаю не въ смыслѣ свободы эмпирическаго хотѣнія, а въ смыслѣ свободы тѣхъ изначальныхъ внѣэмпирическихъ актовъ, которые вытекаютъ изъ *трансцедентальной* свободы, и которые только *символизируются* въ иллюзіи свободы эмпирическаго хотѣнія. Это уяснится изъ дальнѣйшаго.

что въ свою очередь, *безъ нея* свобода хотѣнія есть понятіе—мертвое и для жизни абсолютно-ненужное.

При свободѣ хотѣнія я свободенъ только въ потаенныхъ глубинахъ моей личности. Я не знаю, гдѣ я и въ чемъ я свободенъ. Я знаю только по чувству вины, которое сопровождаетъ извѣстные поступки мои, что я гдѣ-то въ глубинахъ совѣсти моей предпринимаю шаги, отвѣтственность за которые ложится на мнѣ. Со всѣхъ сторонъ я скованъ міромъ необходимости. Все уже *дано*, все движется по опредѣленнымъ и ненарушимымъ законамъ, и я только въ одной какой-то абсолютной точкѣ моего существа, прорываю жизнью своей эту плоскую данность и не теряю нити, связывающей меня съ мірами „иными“, съ свободнымъ царствомъ вещей въ себѣ. Но все внѣшнее, все, что кругомъ меня, уже существуетъ независимо отъ меня и существуетъ въ формахъ каузальной необходимости. Такимъ образомъ, когда я хочу, хотѣніе мое по формѣ свободное, психологически заполняется содержаніемъ изъ этого даннаго міра. Я могу хотѣть только того, что есть, что я вижу, что, я чувствую, что я ощущаю. Ибо если я захочу чего-нибудь такого, чего въ этомъ мірѣ данной реальности еще нѣтъ, то хотѣніе мое останется съ точки зрѣнія этого міра безпредметнымъ, а потому и безплоднымъ. Оно не было бы безплоднымъ лишь въ томъ случаѣ, если бы я имѣлъ власть побѣдить косность среды, меня окружающей и воплотить въ этомъ мірѣ то, что открывается въ личности моей соприкосновеніемъ съ міромъ вещей въ себѣ. Но эта власть истекать изъ одной свободы хотѣнія не можетъ. Она можетъ даваться только свободой дѣланія.

Свобода хотѣнія пуста потому, что при ней я могу только *выбирать* между тѣмъ, что уже мнѣ дано. Ничего создать, ничего новаго творческимъ актомъ породить я не могу. И еслибы у насъ была *только* свобода хотѣнія, то у насъ не было бы *вовсе* свободы. Потому что, если я *только* выбираю между тѣмъ, что мнѣ дано, то на основаніи чего одно данное я буду предпочитать другому данному? На основаніи чего одну форму поступка я предпочту столь же немного опредѣляемой формѣ другого поступка? Если я отвѣчу,

что только потому, что одно данное посылаетъ въ душу мою болѣе сильные и зовущіе мотивы, чѣмъ другое, — то это будетъ чистѣйшій детерминизмъ; если жъ я скажу, что выборомъ руководятъ тѣ изначальные внѣэмпирическіе акты моей личности, къ которымъ нельзя уже обращаться съ вопросами почему? и на какомъ основаніи?—то это значитъ, что для себя, въ отношеніи не внѣшняго міра, а въ отношеніи только своей собственной личности я допускаю не только свободу хотѣнія, но и свободу дѣланія. Я безсиленъ что-нибудь сдѣлать съ міромъ данности, меня окружающимъ; но въ отношеніи себя я свободенъ на творческіе акты, создающіе то, чего во мнѣ не было и уничтожающіе то, что во мнѣ было. И такимъ образомъ, если бы не было во мнѣ въ отношеніи себя самого свободы дѣланія, то не могло бы быть во мнѣ мѣста и свободѣ хотѣнія, ибо *вся* душа моя сплошь была бы заполнена тогда мотивацiей.

Но если допустить свободу дѣланія только въ отношеніи себя и не допустить ея въ отношеніи окружающаго міра, то отъ этого получится нѣчто *большее*, чѣмъ отъ признанія трансцедентальной свободы Канта, но все же очень недостаточное для соціализма. Въ области своей внутренней жизни, т.-е. моральнаго поведенія, (потому что эстетическія и религіозныя переживанія зависятъ не отъ одного меня, а отъ того объекта, къ которому они относятся), я могу творить и созидать. Что же касается внѣшняго строя, то я безсиленъ передъ нимъ. И ничего подѣлать съ нимъ, ничего измѣнить въ немъ не могу. Но тогда и бороться съ нимъ, направлять свои усилія въ сторону измѣненія его хотя бы самаго архиреволюціоннаго—для меня дѣло безплодное.

Творческой задачей моей жизни, т. е. единственно-плодотворнымъ для каждаго человѣка занятіемъ можетъ быть только *самоусовершенствованіе*. Но строить на одномъ самоусовершенствованіи дѣло общественнаго освобожденія,—соціализмъ это хорошо и правильно понимаетъ, совершенно нельзя.

Въ основу полнаго освобожденія человѣчества отъ всякаго рабства должна быть положена болѣе глубокая и болѣе универсальная идея *свободы дѣланія*. Я въ самыхъ крат-

кихъ словахъ очерчу эту идею. Ея очертанія намѣчаются тѣмъ, что сказано выше.

При свободѣ хотѣнія я могу только свободно хотѣть. Но надъ тѣмъ, что выйдетъ изъ этого хотѣнія я совершенно не властенъ. Я могу хотѣть тысячи лѣтъ и съ напряженностью титановъ, громоздившихъ Оссу на Пеліонъ для того, чтобы свергнуть Олимпъ,—во внѣшнемъ мірѣ отъ этого *ничего*, рѣшительно ничего не измѣнится. Всѣ вещи останутся на своихъ мѣстахъ. Вездѣ будетъ кровь, насиліе, рабство и смерть. И если я хочу сдѣлать свободнымъ не только себя, но и тотъ міръ, съ которымъ я связанъ такъ кровно, такъ близко, что не освободивши его, не приму и собственной своей свободы, то, очевидно, свободы хотѣнія мнѣ недостаточно. Мнѣ нужно свободы дѣланія. Но эта свобода не только свобода. Она уже — *власть*. Власть реальнаго воздѣйствія на косную среду міра. Власть претворенія однихъ элементовъ жизни въ другіе. Творческая власть созиданія того, чего еще нѣтъ. Религіозная, благодатная сила преображенія того, что исполнено зла и неправды.

Свобода дѣланія заключается въ томъ, что я свободенъ и властенъ дѣлать то, чего я свободно хочу. Я долженъ быть въ состояніи перевести въ жизнь свою грезу, а эта греза, особенное интимное чувствованіе своего идеала жизни, часто слабое настолько, что выражается только въ смутномъ недовольствѣ всѣмъ даннымъ, имѣется у каждаго человѣка. На днѣ души моей, въ самыхъ затаенныхъ глубинахъ ея, сверкаетъ одно изумительное переживаніе. Я вижу міръ искупленнымъ. Я вижу знакомыя, дорогія лица преображенными. Я прозрѣваю такую бездонную радость, въ которой тонутъ безслѣдно и растворяются всѣ страданія міра. *Этого* я хочу. Хочу всей душой, всею свободой своею. Хочу всѣми силами духа своего, чтобъ это стало на мѣсто того, что существуетъ теперь. Это форма моей мечты. Но каждый человѣкъ имѣетъ *свою* мечту. Греки свою мечту о прекрасномъ мірѣ, свой жизненный идеалъ воплотили въ своей миѳологіи. И они *хотѣли*, чтобъ міръ миѳологіи былъ реальностью. Свою мечту о мірѣ имѣетъ каждый сильный поэтъ, каждый художникъ. Каждый грезитъ о мірѣ своеобразнымъ,

индивидуальнымъ образомъ. И это разнообразіе имѣется даже въ конечныхъ идеяхъ соціализма и анархизма. Каждый крупный, творческій, соціалистическій умъ непремѣнно *по-своему* представляетъ будущій соціалистическій или анархическій строй. Свобода дѣланія заключается въ томъ, чтобы человѣкъ могъ переживать мечту свою не только какъ субъективное свое состояніе, сообразно съ которымъ во внѣшнемъ мірѣ ничего не измѣняется, а былъ бы въ состояніи дѣйственно утверждать ее въ жизни, реально воплощать то, что онъ хочетъ въ томъ, что его окружаетъ, какъ данное. Это значитъ — обладать властной активностью надъ средой и условіями. Безъ этой активности, безъ свободы творческой, въ подлинномъ смыслѣ этого слова, немыслимо никакое освобожденіе. Если я безсиленъ надъ тѣмъ, что дано мнѣ, если я не могу реально освободить то, что сковано цѣпями внѣшними, то я свободенъ въ отношеніи своихъ хотѣній и себя самого, но въ отношеніи того, надъ чѣмъ безсиленъ я, что я долженъ принять, какъ данное, несмотря на то, что это не совпадаетъ съ моими желаніями,—я *рабъ*. Я долженъ принять жизнь въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ я ее *не хочу*. Это рабство, а не свобода.

И если, предавшись самоусовершенствованію, я могу осуществить маленькую частицу мечты, касающуюся меня самого, а вся мечта моя о мірѣ остается принципіально неосуществимой, разбивается о какія-то внѣшнія препятствія,— то моя свобода стѣсняется и нарушается самымъ вопіющимъ образомъ. При чемъ это нарушеніе тѣмъ больнѣе и тѣмъ непереносимѣе для меня, чѣмъ болѣе сильнымъ и страстнымъ желаніемъ я хочу осуществленія своей мечты. Гдѣ же свобода моя, если я не властенъ какъ разъ надъ тѣмъ, чего больше всего хочу? Я въ положеніи узника, который въ камерѣ заключенія своего воленъ многое сдѣлать: сидѣть, ложиться, вставать, ходить изъ угла въ уголъ; — это свобода, конечно. Но если мечта моя быть на волѣ, если я хочу всею свободой своей дышать воздухомъ, который за стѣной, ощущать на себѣ сіяніе солнца и углубляться въ тѣ безбрежныя дали, которыя виднѣются мнѣ изъ окна,—то развѣ свободенъ я съ своей свободой только сидѣть, вста-

вать и ложиться? Нѣтъ, я въ тюрьмѣ. *Въ такой же тюрьмѣ находились бы всѣ люди, если бы они могли только свободно хотѣть*, а дѣлать бы должны были всегда то, что заставляли бы условія и, чуждые ихъ воли, законы среды.

Если я свободенъ только свободой хотѣнія, то я со своей свободой не могу совершенно выйти изъ замкнутаго и рѣзко очерченнаго міра моей внутренней личной жизни. „Я" и „не я" раздѣлены непереходимой пропастью. „Я"— это моя индивидуальная жизнь, которая съ виду, со стороны внѣшняго своего обнаруженія кажется подчиненной закону причинной обусловленности, а въ своихъ корняхъ, въ своей сущности является *свободной*, потому что истекаетъ изъ того царства свободы, членомъ котораго я являюсь въ силу моего обладанія трансцедентальной свободой. „Не—я", это міръ, меня окружающій, міръ явленій, феноменовъ, составляющій царство *природы*, царство необходимости и причинной обусловленности, обусловленности столь строгой, что въ ней не можетъ быть *ни одного перерыва*. При такой постановкѣ дѣла между этими двумя мірами, міромъ моего „я" и міромъ явленій, меня окружающихъ, не можетъ быть никакого *реальнаго* взаимодѣйствія. Я только съ своей феноменальной стороны могу задѣваться воздѣйствіями, идущими въ душу мою изъ міра явленій, а на нуменальную сторону моей личности, т.-е. на самое живое ядро ея, — на сущность ея,—міромъ явленій не можетъ быть произведено ни одного воздѣйствія. Точно такъ же и я могу воздѣйствовать отъ себя на міръ явленій только внѣшней, наружной стороной моей личности, той, которая у меня *общая* съ міромъ явленій, а не той, которая отъ нея отдѣляется непереходимою гранью. Но въ такомъ случаѣ мое пребываніе въ качествѣ нумена въ этомъ мірѣ явленій, — является вдвойнѣ *безрезультатнымъ*. И міръ явленій *ничего* не получаетъ отъ нуменальной стороны моей личности и я въ качествѣ нумена *ничего* не получаю отъ этого міра. Но въ такомъ случаѣ, во-первыхъ пребываніе нуменовъ въ этомъ мірѣ должно быть признано совершенно безсмысленнымъ и ненужнымъ, какъ для самихъ нуменовъ, такъ и для этого

міра, а во-вторыхъ, какъ я говорилъ уже, соціализмъ, желающій въ процессѣ борьбы увеличить свободу въ этомъ мірѣ явленій, построить что нибудь на одной свободѣ хотѣнія—абсолютно не можетъ.

Все сказанное о свободѣ хотѣнія отрицательнымъ путемъ обрисовываютъ самую сущность свободы дѣланія. Свобода дѣланія должна дать то, чего не можетъ дать свобода хотѣнія. Сущность свободы дѣланія заключается въ томъ, что она перекидываетъ реальный мостъ между царствомъ свободы и царствомъ природы. Если я свободенъ свободой дѣланія, то я могу дѣйствіемъ своимъ въ царствѣ природы утверждать царство свободы, я могу въ мірѣ явленій утверждать то, что открывается мнѣ моей принадлежностью къ міру вещей въ себѣ. Но что это значитъ?

Это значитъ, что, если я утвердилъ въ мірѣ явленій хотя бы самый маленькій кусочекъ подлинной свободы,—я въ томъ мѣстѣ, гдѣ водрузилъ знамя свободы—*порвалъ* цѣпь причинности, я высвободилъ изъ обусловленности какой-то элементъ бытія. Это уже не метафоры. Или освобожденіе будетъ призрачнымъ или же оно должно-быть утвержденіемъ той свободы, которая собой отмѣняетъ законы природы. Но что значитъ отмѣнить законы природы? Это значитъ—имѣть реальную *власть* надъ ними; это значитъ быть въ состояніи одинъ элементъ жизни перевести въ качественно новое для него состояніе. Это значитъ—явленіе претворить въ нуменъ, бываніе въ бытіе. Но это превращеніе есть *преображеніе*.

Это—одна сторона идеи свободы дѣланія. А вотъ другая: кто является посредникомъ между царствомъ свободы и царствомъ природы?—Человѣческая личность. Она является членомъ обоихъ царствъ. Въ своей феноменальной сторонѣ она связана тѣсными неразрывными связями съ міромъ явленій. Въ своей ноуменальной сущности—она является вещью въ себѣ, принадлежащей къ царству свободы. Но и феноменальная ея сторона и ноуменальная ея сущность даются не въ раздѣленномъ видѣ, а органически слитыми въ живомъ единствѣ живой человѣческой индивидуальности. Такимъ образомъ идея свободы дѣланія предполагаетъ, что человѣкъ можетъ и долженъ явиться дѣйствительнымъ посредникомъ

между двумя мірами, той точкой, въ которой оба міра реально соприкасаются, тѣмъ агентомъ, который дѣлаетъ возможнымъ взаимодѣйствіе этихъ міровъ,—а *безъ этого*, безъ признанія именно за человѣкомъ назначенія утвердить царства свободы въ царствѣ необходимости не можетъ быть осмысленъ процессъ освобожденія, которымъ задается соціализмъ, ибо это освобожденіе совершается и должно совершаться черезъ людей, и не какимъ-нибудь внѣшнимъ и независящимъ отъ нихъ образомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Итакъ, я, какъ реальный посредникъ между міромъ явленій и міромъ вещей въ себѣ утверждаю въ царствѣ природы царство свободы. Я снимаю путы тамъ, гдѣ царили необходимость и вытекающее изъ этой необходимости рабство. Теперь спрашивается: для того, чтобы освобожденіе человѣчества было дѣйствительнымъ, *отъ чего* его нужно освободить? Въ какихъ мѣстахъ нужно разбить кандалы для того, чтобы человѣкъ былъ свободенъ не призрачно?

Выясню вопросъ на примѣрѣ:

Меня угнетаетъ подневольный двѣнадцатичасовой трудъ, притупляетъ и держитъ въ оковахъ мой духъ. Я хочу читать, развиваться, а тутъ работай до изнеможенія, до полной невозможности быть способнымъ на что-нибудь кромѣ этого труда. И въ то же время мнѣ давятъ ботинки, стѣсняютъ меня и не даютъ ходить легко привычной походкой. И вотъ меня освобождаютъ отъ этихъ ботинокъ. Даютъ другія, въ которыхъ ходить легко и удобно. Что, почувствую ли я отъ этого себя свободнымъ? Не стану ли я съ еще большей силой ощущать свое рабство отъ подневольнаго двѣнадцатичасового труда? Можно ли освобожденіе отъ непріятныхъ „ботинокъ“ безъ иронiи считать „освобожденіемъ“, — если главное рабство остается въ неприкосновенности? Отвѣтъ ясенъ: конечно, нельзя. Освободить въ мелочахъ и оставить рабство въ главномъ — это значитъ не освободить, а только съ еще большей силой

подчеркнуть это рабство. И если принципіально признать, что рабство это неучтожимо и останется всегда и во вѣки вѣковъ, — тогда частичное освобожденіе потеряетъ всякій смыслъ. Оно будетъ увеличивать не свободу, которой нѣтъ, разъ въ главномъ человѣкъ всегда останется рабомъ, а будетъ увеличивать только страданіе человѣческое отъ сознанія, что упираешься въ стѣну, что вся свобода твоя свелась къ замѣнѣ ботинокъ, а подневольный двѣнадцатичасовой трудъ будетъ вѣчно держать тебя въ рабствѣ.

Вотъ я и ставлю вопросъ:

Пусть мы признаемъ свободу дѣланія. *Въ какомъ же объемѣ* нужно признать ее для того, чтобы не упереться въ концѣ концовъ въ стѣну. Что изъ царства необходимости мы властны претворить въ царство свободы, а что не властны? Гдѣ лежатъ *границы* возможнаго для насъ освобожденія? Этотъ вопросъ необходимо изслѣдовать, потому что, если границы эти лежатъ недалеко отъ того мѣста, гдѣ ихъ считали лежащими либералы, мечтавшіе только о той свободѣ, которую соціалисты съ справедливой ироніей считаютъ свободой умирать съ голода,—то очевидно стѣна уже передъ нами и мы уже упираемся въ нее, не желая только въ этомъ сознаться.

Отъ чего же мы должны освободиться для того, чтобы быть не только *номинально* свободными, но и обладать *реальной* свободой? Другими словами *что* сейчасъ дѣлаетъ насъ рабами, а не господами своего положенія? Гдѣ наши главныя узы, въ чемъ наша тюрьма?

Для того, чтобы избѣжать недоразумѣній, я долженъ оговориться. Процессъ внѣшняго освобожденія человѣчества я считаю святымъ и такимъ, который реально увеличиваетъ человѣческую свободу. Необходимымъ этапомъ этого освобожденія я считаю освобожденіе политическое и освобожденіе экономическое. Скажу рѣзче: *безъ* полнаго экономическаго освобожденія я считаю *невозможнымъ* наступленіе той окончательной и универсальной свободы, которую несетъ міру христіанство. Поэтому все, что я буду говорить дальше должно пониматься правильно. Я буду говорить не противъ освобожденія экономическаго, котораго хочетъ со-

ціализмъ, и даже не противъ тѣхъ формъ, въ которыхъ онъ предлагаетъ совершить это освобожденіе, а только противъ того, что соціализмъ въ уничтоженіи рабства останавливается на полудорогѣ, боится занести руку надъ самымъ главнымъ ярмомъ, лежащимъ на человѣчествѣ, и потому его представленія о томъ, въ чемъ заключается наше теперешнее рабство—должны быть расширены; еще нѣсколько боговъ, которыхъ соціализмъ вмѣстѣ съ анархизмомъ благочестиво почитаетъ богами, должны быть объявлены кумирами, и, какъ кумиры, повержены въ прахъ.

Я стою не за частичныя экономическія реформы. Для освобожденія человѣчества я считаю необходимой всестороннюю и глубочайшую соціальную революцію. Я не стою также на почвѣ какой-нибудь конституціи, хотя бы въ самыхъ совершенныхъ и наилучшихъ ея формахъ. Нѣтъ, дѣйствительная свобода человѣческая можетъ быть найдена только въ идеалѣ безвластія, отрицающемъ въ корнѣ насильническую организацію государства. Но я думаю, что для сознательныхъ людей, желающихъ дѣйствительнаго, а не призрачнаго освобожденія человѣчества—*мало и этого*. Мало свергнуть власть капитала, мало сдать въ архивъ государство. Нужно непремѣнно сдѣлать и то, и другое, но *остановиться* на этомъ нельзя, потому что, когда будутъ сбиты оковы, останутся еще *стѣны* тюрьмы. Но я только оговариваюсь, а излагать положительно мои общественные взгляды буду впослѣдствіи. Теперь же только прошу замѣтить, что дальнѣйшее мое изложеніе не *отрицаетъ*, а *предполагаетъ*, какъ нѣчто безусловное, необходимое освобожденіе изъ подъ власти капитала и изъ подъ власти государства.

И такъ повторяю вопросъ: *отъ чего* мы должны освободиться для того, чтобы завоевать свою настоящую свободу, а не быть только номинально свободными! Мы должны освободиться отъ двухъ вещей: отъ господства надъ нами *времени*, и господства надъ нами *смерти*. Это звучитъ нелѣпо? Это рѣжетъ ухо непривычной дерзостью? Кажется какою-то фантасмагоріей, а не строгимъ философскимъ разсужденіемъ? Пусть кажется такъ съ перваго взгляда. Кто

углубится въ эти проблемы, кто безъ боязни, взглядомъ философа взглянетъ на дѣйствительность, въ которой мы живемъ, тотъ долженъ понять, что надъ всѣми фактами нашей жизни возвышаются кардинальные факты: время и смерть, что самая первая наша обязанность подойти къ этимъ вопросамъ, изслѣдовать ихъ до конца, заглянуть вглубь той почвы, на которой покоятся эти два истукана, и посмотрѣть: *что* эта почва,—нѣчто незыблемое, неприкосновенное и священное или же и ее можно разрыхлить и ее можно прокопать, и то, что покоится на ней, свергнуть?

Прежде всего разсмотримъ время,—этого перваго властелина въ мірѣ явленій. — Его господство въ „царствѣ природы" неоспоримо, но если царство свободы дѣйствительно должно утвердиться въ царствѣ природы, то такъ же неоспоримо и то, что время должно быть *превзойдено*.

Почему же время мы считаемъ чѣмъ-то такимъ, что самымъ тѣснымъ образомъ связано съ рабствомъ, что враждебно свободѣ и при существованіи чего не можетъ-быть достигнуто подлиннаго и окончательнаго освобожденія? На это нужно отвѣтить прежде всего.

Я знаю: такая постановка вопроса покажется непонятной, но мнѣ въ тысячу разъ непонятнѣе фактъ, что люди живутъ во времени, окружены имъ со всѣхъ сторонъ, каждымъ моментомъ жизни своей связаны съ нимъ неразрывно, вмѣстѣ съ тѣмъ не замѣчаютъ самымъ непростительнымъ образомъ тѣхъ безчисленныхъ и мучительныхъ загадокъ, которыми полно время. Позитивизмъ притупилъ зрѣніе человѣчества настолько, настолько сдѣлалъ людей духовно слѣпыми, что самая слѣпота эта является сама по себѣ величайшей загадкой. Какъ въ самомъ дѣлѣ понять, какъ объяснить такое явленіе: люди, желающіе стоять на почвѣ фактовъ, реалисты по призванію и κατ'ἐξοχήν, на которыхъ лежитъ совсѣмъ особая обязанность самымъ добросовѣстнымъ образомъ относиться къ тому, что дается, какъ фактъ, пропускаютъ мимо себя такой грандіозный и основной фактъ нашей жизни, какъ время? Время — это нѣчто такое, что если вдуматься въ него хоть немного, должно неминуемо привести или къ холодному дулу револьвера или къ живой

вѣрѣ въ Христа. Оставаться посрединѣ между этими двумя полюсами для того, кто хоть разъ ощутилъ время во всемъ огромномъ размѣрѣ его значенія — совершенно нельзя. А между тѣмъ позитивисты всѣ свои теоріи, всѣ свои общественные идеалы строятъ такимъ образомъ, какъ будто *времени нѣтъ*. Какъ форму, они его признаютъ. Какъ сущность же, игнорируютъ совершенно.

Я постараюсь это сейчасъ показать.

Къ времени можетъ быть два діаметрально-противоположныхъ отношенія. Время можетъ восприниматься двоякимъ образомъ и *только двоякимъ*. Третьяго воспріятія между этими двумя воспріятіями не можетъ быть оттого, что эти воспріятія расходятся какъ разъ въ противоположныя стороны *по прямой линіи*. Между этими двумя расходящимися линіями, какъ въ магнитѣ есть только одна абсолютно-безразличная точка, но именно въ силу своей *абсолютной* безразличности она не можетъ быть дана ни въ какомъ переживаніи.

Одно изъ этихъ воспріятій такое:

Время течетъ не останавливаясь. Каждый данный моментъ, сверкнувъ мгновеніе, какъ настоящее, погружается въ прошлое, а изъ того, что было до этого въ будущемъ, продвигается моментъ въ настоящее и тоже, сверкнувъ мгновеніе, такъ же исчезаетъ безслѣдно въ прошломъ. Это постоянное, непрерывающееся передвиженіе будущаго черезъ настоящее въ прошлое и составляетъ сущность времени. Все что дается сейчасъ, черезъ мгновеніе пропадаетъ и пропадаетъ безслѣдно, потому что время течетъ въ *одну* сторону изъ будущаго въ прошлое, и никогда, никакими усиліями нельзя заставить его вернуться назадъ. То, что живетъ сейчасъ, угасаетъ мгновенно, какъ только проплываетъ черезъ узенькую полоску настоящаго, и если на томъ мѣстѣ, гдѣ была жизнь, жизнь остается по-прежнему, то эта иллюзія,— это не та жизнь, что была, это *новая* жизнь, потому что каждое пережитое мгновеніе уходитъ въ прошлое и оттуда уже не возвращается. Такимъ образомъ ничего въ жизни, данной намъ, не стоитъ на мѣстѣ. Все течетъ, все незамѣтно, но неминуемо, неотвратимо движется изъ настоящаго

въ прошлое, и когда доходитъ до этого прошлаго, разверзается какая-то пропасть и поглощаетъ все, что въ нее ввергается безжалостнымъ временемъ. *Все* движется къ этой пропасти, неумолимо безъ исключеній,—все ветшаетъ, старится и приближается къ превращенію *въ ничто*. То что *есть*, становится тѣмъ, чего *нѣтъ*. И это должно сказать безусловно о всякой вещи міра, въ которомъ господствуетъ время. Этотъ процессъ протеканія времени безусловно реаленъ. Мы въ силу ограниченности нашей, въ силу сознательныхъ или безсознательныхъ иллюзій можемъ, конечно, въ этомъ всеобщемъ движеніи къ пропасти небытія воспринимать нѣкоторыя точки, какъ относительно—неподвижныя, обольщаться чувствомъ, что тотъ или другой дорогой намъ элементъ бытія, какъ-то стоитъ и не движется къ уничтоженію;—но это воспріятіе ложное,—это чувство—*обольщеніе*. Обольщеніе—всѣ воспріятія міра, какъ какой-то неподвижной картины, гдѣ что-нибудь существуетъ прочно. Безжалостная дѣйствительность уничтожаетъ иллюзіи. Время течетъ и течетъ и всѣ наши обольщенія разсыпаются въ прахъ. Но въ такомъ случаѣ всѣ наши воспріятія отъ міра мы должны рѣзко раздѣлить на иллюзорныя и на дѣйствительныя. Къ первымъ относятся всѣ обычныя воспріятія міра, дающія возможность тѣмъ, кто незнаетъ правды, жить спокойно, даже радоваться и веселиться. Ко вторымъ же должны притти всѣ, передъ кѣмъ время откроетъ обнаженную сущность явленій. Этимъ увидѣвшимъ и познавшимъ—веселиться уже нельзя. Они могутъ только ужасаться, потому, что надъ всѣмъ, что живетъ, они увидятъ занесенную руку неумолимаго рока, движущаго все, безъ исключенія все, къ пропасти небытія. Лицевой обманный покровъ съ вещей будетъ скинутъ—это Майя, призракъ, иллюзія и останется только одно. Прошедшее шагъ за шагомъ преслѣдуетъ настоящее, каждый мигъ торжествуетъ побѣду, превращая его въ ничто, а настоящее, безсильное, ни за что не могущее ухватиться, можетъ только передвигаться въ будущее, безъ надежды, что когда-нибудь такое безцѣльное убѣганіе къ чему - нибудь приведетъ. Основнымъ фактомъ жизни является поглощеніе бытія небытіемъ. Прочаго ничего

нѣтъ: все прахъ, все тлѣнъ, все разлетается въ пыль отъ теченія времени, котораго никто не остановитъ, и люди—вся жизнь человѣческая—суета суетъ и всяческая суета. Всякое утвержденіе жизни, какъ безсмысленное и безрезультатное, является обольщеніемъ, каждое сильное желаніе, всегда направленное къ жизни, только закрѣпляетъ обманъ; значитъ, нужно уйти изъ цѣпей обманчивой Майи, отказаться отъ утвержденія себя въ жизни, отказаться отъ воли и погрузиться въ *Нирвану*. Вотъ единственное освобожденіе, которое возможно на почвѣ *такого* воспріятія времени. Это освобожденіе и пытался дать *Буддизмъ*.

Другое воспріятіе времени діаметрально противоположно. Я о немъ скажу въ немногихъ словахъ, потому что о немъ нужно сказать для того только, чтобъ на фонѣ его рѣзче очертилось воспріятіе первое. Время течетъ безостановочно, ежесекундно и вся жизнь вмѣстѣ съ нимъ измѣняется, движется и не стоитъ на мѣстѣ. Время безжалостно сдергиваетъ съ вещей лицевой покровъ, срываетъ внѣшній обликъ устойчивости съ явленій, но этимъ оно обнажаетъ не пустое ничто, прикрытое обманчивымъ покровомъ Майи, а, полную безконечной жизни, Вѣчность. Время летитъ, но своей постоянной текучестью и подвижностью, оно обнаруживаетъ, что явленія есть только явленія, что „образъ міра сего преходитъ,"—и этимъ разрушаетъ иллюзіи только тѣхъ людей, которые принимали явленія больше, чѣмъ за явленія, которыя хотѣли, обольстившись, успокоиться на феноменальной сторонѣ жизни. Но, разбивая только эти иллюзіи, время не властно сдѣлать что-нибудь больше. Какъ разъ наоборотъ. Ощущеніе времени, какъ чего-то такого, что уноситъ безжалостно и безвозвратно каждый настоящій мигъ въ прошлое, дѣлаетъ этотъ настоящій мигъ, вотъ сейчасъ долженствующій исчезнуть, такимъ дорогимъ, такимъ безцѣннымъ, что переживаніе этого настоящаго мига—углубляется безконечно. За явленіемъ чувствуешь сущность, за призрачной видимостью безусловную реальность и *въ моментъ переживанія вѣчность*. Но это самое переживаніе вѣчности, какъ чего то безусловнаго реальнаго, а переживаніе времени, какъ чего-то призрачнаго, только видимаго, говоритъ о томъ, что

истинная жизнь, открывающаяся въ вѣчности, — надъ временемъ возвышается и такимъ образомъ положительное воспріятіе вѣчности *сквозь* время говоритъ о томъ, что время есть нѣчто такое, что должно-быть поглощено Вѣчностью.

И если время для людей съ однимъ воспріятіемъ говоритъ о ничтожности и тлѣнности всѣхъ вещей въ мірѣ, о томъ, что все приходитъ, все погибаетъ и рушится, все превращается въ ничто и что поэтому вся жизнь человѣческая есть *суета*, — то это же самое время людей съ другимъ воспріятіемъ заставляетъ оторваться отъ внѣшней обманчивой оболочки явленій, взглянуть вглубь жизни, увидѣть, что вездѣ и всюду въ каждомъ шагѣ нашей жизни сквозитъ лучезарная Вѣчность и что все поэтому въ жизни полно тѣмъ безконечнымъ смысломъ, который не только не можетъ-быть уничтоженъ „всеуничтожающимъ“ временемъ, но наоборотъ самъ долженъ привести къ *уничтоженію времени*.

Таковы два основныхъ отношенія къ времени. Другого отношенія быть не можетъ. Потому что всякое другое отношеніе есть не отношеніе, а *отсутствіе* отношенія.

Я только обрисовалъ объективными чертами два возможныхъ воспріятія времени; я не говорилъ пока о томъ, какое изъ нихъ ближе къ истинѣ, какое имѣетъ за собой больше философскихъ основаній. Принятый методъ изслѣдованія не требуетъ отъ меня подобныхъ доказательствъ. Ничего не утверждая пока съ своей стороны, я попытаюсь теперь выяснить въ какомъ отношеніи находятся конечные идеалы соціализма и анархизма къ обрисованнымъ двумъ воспріятіемъ времени.

Соціализмъ и анархизмъ оба одинаково жаждутъ свободы. Оба одинаково ненавидятъ рабство, хотятъ *реальнаго* освобожденія. Какое же отношеніе къ времени требуется съ ихъ стороны для того, чтобы время всей своей неотвратимой неизбѣжностью не стояло имъ *поперекъ дороги* въ ихъ же собственномъ міровоззрѣніи?

Если они станутъ на почву перваго воспріятія, то они должны будутъ притти къ такого рода выводамъ:

Все живущее, въ силу безостановочнаго теченія времени, съ каждымъ протекающимъ моментомъ, приближается къ своему погруженію въ пустоту. Этого безостановочнаго передвиженія въ пропасть *нисколько* не остановитъ наступленіе соціалистическаго строя. Пусть люди устроятся въ тысячу разъ удобнѣе, эстетичнѣе, пріятнѣе, чѣмъ можно нарисовать теперь въ самыхъ смѣлыхъ мечтахъ. Все равно время будетъ двигаться ровно съ неизбѣжностью и при соціалистическомъ строѣ, такъ же, какъ оно движется теперь. Въ какомъ же истинномъ видѣ обрисуется тогда жизнь всего человѣчества? Жизнь отдѣльнаго человѣка—это небольшой островокъ, окруженный океаномъ небытія. Каждый день бѣгущія волны времени смываютъ частичку острова, каждый день островъ таетъ и размывается, каждый день приближаетъ его къ полному и безслѣдному погруженію въ волны. Теперь на этомъ островкѣ человѣкъ страдаетъ. Тогда пусть не будетъ страдать. Но и тогда и теперь одинаково каждую минуту почва обсыпается подъ нимъ, небольшой кусочекъ будущаго, отведенный человѣку, переходитъ въ прошлое, нить жизни кончается и то, что только-что было—становится тѣмъ, чего уже нѣтъ. Жизнь всего человѣчества тоже островъ, въ томъ же самомъ океанѣ небытія, составленный изъ множества,—но не *безконечнаго* множества маленькихъ пригоршней суши, которыя каждое мгновеніе уносятся временемъ. Будущее, отведенное всему человѣчеству, во много разъ больше, чѣмъ будущее отведенное отдѣльному человѣку. Но и оно не безгранично. Когда-нибудь потухнетъ самое солнце, наша земля покроется льдомъ и жизни на ней ужъ больше не будетъ. Значитъ, и по отношенію къ большому острову жизни всего человѣчества время дѣлаетъ то, что оно такъ замѣтно для всѣхъ дѣлаетъ по отношенію къ маленькому островку единичной человѣческой жизни. Этотъ островъ тоже смывается каждой волной ровно, методично-бѣгущаго времени и тоже когда-то будетъ весь смытъ и весь безслѣдно поглощенъ бездной небытія. Я говорю это не для того, чтобы показать тщету и нелѣпость всей жизни при такомъ воспріятіи времени. Это вопросъ очень важный, но я его пока не касаюсь. Я говорю

это затѣмъ, чтобы поставить вопросъ: *гдѣ же свобода человѣческая*, если нарисованная картина есть картина *реальнаго будущаго*? Вѣдь при такомъ воспріятіи процессъ безжалостно правильнаго, безостановочнаго теченія времени,—есть процессъ *объективный*, внѣ воли людей лежащій, никакими силами не могущій быть остановленнымъ. Но хорошо сказать объективный! Это холодное выраженіе въ переводѣ на реальный языкъ значитъ: *независящій отъ человѣка*, т. е. извнѣ ему данный, кѣмъ-то и чѣмъ-то ему навязанный. Почему же человѣкъ долженъ сносить спокойно чуждую власть надъ собой процесса, захватившаго его, какъ щепка, слѣпого, безпомощно уносимаго теченіемъ, и покоряться ему? На какихъ основаніяхъ? Вѣдь этотъ процессъ нисколько не вытекаетъ изъ человѣческой свободы. Наоборотъ онъ ее урѣзываетъ, ограничиваетъ, вводитъ ее въ узкія рамки „свободнаго“ ожиданія пока данный тебѣ кусочекъ будущаго переползетъ въ прошлое. И тогда свободѣ конецъ. Человѣкъ не можетъ двинуться ни взадъ, ни впередъ, долженъ смирно сидѣть и плыть въ узкихъ, отведенныхъ ему берегахъ, куда самъ не хочетъ плыть, куда его тянетъ, какъ на веревочкѣ какой-то „объективный“ процессъ. Гдѣ же тутъ мѣсто свободѣ? О какомъ утвержденіи царства свободы въ царствѣ природы можетъ быть тогда рѣчь? Человѣкъ, этотъ посредникъ, этотъ агентъ, черезъ котораго должна утвердиться свобода тамъ, гдѣ царствуетъ необходимость—оказывается *минимымъ* посредникомъ, безсильнымъ агентомъ, потому что онъ ничего не можетъ сдѣлать съ царствомъ природы, онъ не можетъ даже самъ утвердиться въ этомъ царствѣ такъ, чтобы его не снесъ, какъ щепку, потокъ времени. И въ лучшемъ случаѣ, если человѣкъ, снесенный и побѣжденный временемъ, самъ не погибнетъ и попадетъ не въ пустое мѣсто, а въ царство вещей въ себѣ, если онъ растеряетъ въ этой безсильной попыткѣ утвердить свободу въ мірѣ явленій—только свою феноменальную оболочку и останется по-прежнему нуменомъ,—то вѣдь этотъ результатъ, утѣшительный для него, совсѣмъ не утѣшителенъ для міра явленій, для царства природы, которое вѣдь останется въ прежнемъ своемъ видѣ въ цѣпяхъ рабства, и даже еслибъ всѣ

люди, цѣною потери своей феноменальной оболочки, достигли бы свободы ноуменовъ, то вѣдь, во первыхъ, свободой ноуменовъ они обладали и раньше, такъ что они ничего не *достигли*, а, во-вторыхъ, это достиженіе свободы не имѣетъ никакого отношенія къ тому реальному, (т. е. относящемуся къ нашему міру) *освобожденію*, которымъ задаются соціализмъ и анархизмъ.

Если время нѣчто такое, господство чего признается неуничтожимымъ, то вся наша свобода сводится къ пустому мѣсту. Мы, обладающіе свободой дѣланія, желающіе въ процессѣ реальнаго освобожденія утвердить царство свободы въ царствѣ природы—при господствѣ времени—можемъ дѣлать только одно: строить песчаныя сооруженія, въ промежуткѣ отъ одного прилива до другого. Пришелъ приливъ и все, что строилось, сооружалось нами, безслѣдно сметается набѣжавшими волнами. Я не говорю уже о томъ, что подобное положеніе должно быть *субъективно — невыносимымъ*. Если я дѣлаю дѣло въ мірѣ явленій, не для того только, чтобы что-нибудь дѣлать, и не потому, что меня принудительно заставляетъ дѣлать что-то внѣшнее, если я въ свободномъ порывѣ здѣсь въ этой феноменальной средѣ хочу, дѣйствительно, утвердить то, что вывожу съ мукой изъ ноуменальныхъ глубинъ своей личности, какъ что-то самое дорогое, самое безцѣнное для меня,—я не могу помириться абсолютно съ тѣмъ, что все, что я сдѣлаю, будетъ временемъ сметено и уничтожено. Если это, дѣйствительно, такъ, то я не могу, не хочу, не буду работать завѣдомо въ пустую. Ибо дѣлать дѣло жизни можно только, зная, что это есть реальное дѣло, а не мнимое, не пустое, не одна только услада себя самого. Но подобное положеніе не только субъективно-невыносимо. Съ точки зрѣнія идеи свободы оно является и *объективно-безсмысленнымъ*. Если все, что я дѣлаю, будетъ безслѣдно сметено, если не останется въ этомъ мірѣ явленій ничего изъ того, что я пытаюсь въ немъ утвердить, тогда и процессъ реальнаго освобожденія человѣчества становится *невозможнымъ*. Мы говорили уже, что процессъ этотъ только тогда можетъ быть процессомъ реальнаго, а не номинальнаго освобожденія, если онъ разсматривается,

какъ процессъ подлиннаго и реальнаго утвержденія въ царствѣ природы царства свободы. Но если царство природы, столь упорно, столь непроницаемо, столь не поддается воздѣйствіямъ со стороны царства свободы, что всякая дѣятельность въ этомъ направленіи для него, выражаясь вульгарно,— какъ съ гуся вода, то очевидно ни о какомъ превращеніи царства природы въ царство свободы принципіально не можетъ быть рѣчи. Если указанное воспріятіе времени истинно,— если время будетъ также господствовать надъ всѣмъ, какъ оно господствуетъ теперь,—тогда всякія попытки освобождать человѣчество должны быть признаны нелѣпыми и утопичными.

Такимъ образомъ вопросъ становится такъ:

Или я долженъ разстаться съ идеей свободы дѣланія и отказаться отъ всякой мысли объ освобожденіи человѣчества, и тогда я могу оставаться съ тѣмъ воспріятіемъ времени, которое говоритъ о его неуничтожимости и вѣчномъ господствѣ;

Или же, безусловно вѣря въ возможность освобожденія и съ безусловной увѣренностью воспринимая, какъ неопровержимый фактъ, свою свободу, я долженъ разстаться съ подобнымъ отношеніемъ къ времени и признать, что время и можетъ и *будетъ превзойдено*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Время дѣлаетъ человѣка рабомъ. Оно превращаетъ его въ безсильную пѣшку, которая можетъ тормошиться, что-то такое затѣвать, о чемъ-то мечтать, но совершенно не въ ссотояніи утвердить въ этомъ мірѣ свободу подлинно, по настоящему, т.-е. такимъ образомъ, чтобы время было не *властно* надъ этой свободой. Всякое освобожденіе при господствѣ времени является *временнымъ*, т.-е. такимъ, которое черезъ извѣстный промежутокъ времени *кончится* и прекратится, и значитъ тамъ, гдѣ мелькнула только на время свобода, опять воцарятся необходимость и рабство. Для того, чтобы освобожденіе было освобожденіемъ навсегда, для этого нужно, чтобъ оно было освобожденіемъ отъ самого времени. Иначе рабству положенъ конецъ быть не можетъ.

Но если время стоитъ поперекъ дороги къ освобожденію, если оно мѣшаетъ свободѣ подлинно утверждаться въ нашемъ мірѣ причинности и обусловленности, если оно сводитъ на нѣтъ всѣ попытки людей порвать цѣпи рабства,— то въ тысячу разъ больше это нужно сказать *о смерти*.

Въ смерти въ интенсивнѣйшемъ видѣ заключается отрицательная сущность времени. Но въ смерти есть и нѣчто другое, *свое*, что на одно время сведено быть не можетъ, и поэтому она требуетъ особаго разсмотрѣнія.

Прежде всего нужно подчеркнуть фактъ крайней лживости въ отношеніи къ смерти. Большинство такъ живетъ и, главное, такъ *думаетъ* и такъ *чувствуетъ*, какъ будто бы никакой смерти *нѣтъ*. Самый универсальный, самый кричащій, самый непонятный изъ всѣхъ фактовъ, игнорируется совершенно тѣми, кто всѣ теоріи свои хочетъ строить на почвѣ однихъ лишь фактовъ. И это нужно сказать не только о людяхъ, философіи чуждыхъ, практически и *только практически* относящихся къ жизни. Вотъ примѣръ. Крупная научная сила, Токарскій, въ большой спеціальной статьѣ подходитъ къ вопросу о *смерти*[1]). Онъ приводитъ интересныя данныя, дѣлаетъ анализъ элементовъ, изъ которыхъ слагается чувство страха смерти, подъ конецъ даже хочетъ намѣтить нѣчто вродѣ примирительнаго выхода, — но во всемъ изложеніи кажется загадочно странною одна черта: Токарскій говоритъ о смерти такъ, какъ будто смерти реально не существуетъ, какъ будто онъ, Токарскій, никакого отношенія до ней не имѣетъ. Смерть сама по себѣ, онъ самъ по себѣ. Въ то время, какъ онъ пишетъ о смерти, изъ поля зрѣнія его ускользаетъ реальность, все вниманіе его устремляется на свѣтлую точку, на перо, на бумагу, на внутренній ходъ мыслей въ его головѣ, а все остальное гаснетъ, уходитъ и исчезаетъ совсѣмъ. Фактъ смерти занавѣшивается отъ него переживаніями, которыя сопровождаютъ писаніе статьи, и то, что онъ пишетъ, къ изслѣдованію вопроса о смерти, имѣетъ самое далекое отношеніе, потому что фактъ смерти въ его *реальномъ* видѣ, имъ уже не воспринимается. Но

[1]) „Вопросы философіи и психологіи“, кн. 37.

тогда что же онъ дѣлаетъ? Вмѣсто изслѣдованія фактическаго положенія дѣла онъ начинаетъ *фантазировать*. Отъ дѣйствительности онъ уходитъ въ *мечту*. Онъ перестаетъ черпать воспріятія изъ реальности, которую онъ долженъ былъ бы изслѣдовать и начинаетъ *ткать изъ себя*. И пусть эта ткань будетъ состоять сплошь изъ однихъ научныхъ терминовъ, пусть у ней внѣшность будетъ столь строго традиціонная, что ни одно слово не будетъ говорить о личныхъ чувствахъ Токарскаго,—все равно все его разсужденіе будетъ сплошною фантазіей, если самый *фактъ* смерти въ концѣ концовъ принимается несуществующимъ. Токарскій забываетъ и игнорируетъ самое главное: когда онъ писалъ эту статью, смерть его уже къ нему приближалась. Онъ умеръ вскорѣ послѣ написанія этой статьи. Это приближеніе смерти не было фактомъ личной жизни Токарскаго, который онъ могъ бы поэтому игнорировать. Это универсальный фактъ, который касается всѣхъ людей безъ исключенія, потому что ко всѣмъ людямъ смерть приближается каждую минуту. Значитъ, воспринимая смерть въ ея истинномъ видѣ онъ долженъ былъ бы взглянуть прямо въ глаза къ нему приближающейся смерти, разсмотрѣть ее со стороны универсальнаго приближенія къ людямъ писать о томъ, что онъ видитъ въ этомъ фактѣ, а не писать такъ, какъ будто самого факта этого вовсе и нѣтъ. Эта позиція нейтралитета, это желаніе представить дѣло такъ, точно насъ, людей, смерть совсѣмъ не касается, что мы можемъ изслѣдовать ее такъ, какъ изслѣдуемъ все другое, есть величайшая ложь, потому что въ самый фактъ смерти входитъ неизбѣжное приближеніе ея къ человѣку, и забывая и игнорируя эту сторону ея, мы искажаемъ то, что дается намъ *въ опытѣ*, отрываемся отъ реальности и переходимъ къ схемамъ, мнимо-научнымъ по формѣ и пустымъ, незаполненнымъ реальностью по содержанію.

Въ домѣ начинается пожаръ. Это видитъ ученый. Его призваніе сообщать и говорить живущимъ въ домѣ о всѣхъ фактахъ, которые онъ замѣтитъ. Онъ видитъ пожаръ, идетъ въ свою комнату и начинаетъ писать: „пожары бываютъ большіе и малые...“ и такъ увлекается этой схемой своей,

что забывая о *реальномъ* пожарѣ, начинаетъ исписывать много страницъ. Онъ пишетъ, а въ это время пожаръ пожираетъ домъ и живущихъ въ немъ, которые, довѣряясь ученому, продолжали заниматься каждый дѣломъ своимъ и не знали о пожарѣ. Такого ученаго можно назвать вдохновеннымъ писателемъ, человѣкомъ съ душою поэта, мистикомъ, созерцателемъ — чѣмъ угодно, но только не человѣкомъ, добросовѣстно исполняющимъ свое призваніе,—сообщать живущимъ въ домѣ о *фактахъ*, которые онъ замѣтитъ. Онъ будетъ сколько угодно говорить о *пожарахъ вообще*, приводить примѣры, дѣлать многочисленныя ссылки, но о *реальномъ* пожарѣ онъ старается не сказать ничего. Я не задаю здѣсь *утилитарнаго* вопроса, почему онъ не предупреждаетъ живущихъ въ домѣ объ опасности. Я говорю только, что онъ *теоретически* лжетъ, произвольно искажаетъ *фактъ*, если видя *реальный пожаръ*, начинаетъ писать о томъ, что „пожары бываютъ большіе и малые". Наука, т.-е. та часть ея, которая предметомъ своимъ имѣетъ жизнь человѣка, находится въ положеніи этого ученаго. Она призвана наблюдать и регистрировать факты. Но одни факты она регистрируетъ, другіе же пропускаетъ мимо. Отборомъ однихъ фактовъ и отбрасываніемъ другихъ, завѣдуетъ *позитивная философія*, стоящая за спиной у науки. Она даетъ директивы, она указуетъ, куда направлять изслѣдованіе, а наука послушно исполняетъ то, что ей диктуетъ ея руководительница. И вотъ оказывается въ результатѣ, что изъ поля зрѣнія науки, совершенно исчезаетъ такой грандіозный и такой универсальный фактъ, какъ уничтоженіе каждаго живущаго человѣка *смертью*. Этотъ фактъ для легкости подмѣняется *суррогатомъ*, на который обращается все вниманіе. Трудно себѣ представить до какой наивности доходитъ въ этомъ отношеніи „научное" мышленіе. Токарскій, напр., въ концѣ своей статьи говоритъ: „мысль о смерти чрезвычайно легко вытѣсняется у насъ *мыслительнымъ процессомъ*... Правда, одинъ изъ нашихъ писателей утверждалъ, что мысль о смерти настолько преслѣдуетъ его, что самое тѣло его ему кажется трупомъ... Но если этому повѣрить, мы имѣемъ тогда случай такъ называемой навязчивой идеи.

Случай же навязчивыхъ идей о смерти—представляютъ ужъ собой патологическое явленіе".

Эти слова замѣчательны! Въ нихъ очень ярко обнаруживается та крайняя лживость въ отношеніи къ смерти, которую мнѣ хотѣлось бы подчеркнуть. „Мысль о смерти чрезвычайно легко у насъ *вытесняется мыслительнымъ процессомъ*". Это фактъ. Но фактъ страшно печальный, съ которымъ строгое мышленіе помириться абсолютно не можетъ. Мысль о смерти только *вытъсняется*, психологически вытѣсняется. Ей не дается разрѣшенія, на нее не дается отвѣта, просто „мыслительный процессъ по прихоти, безъ всякихъ логическихъ основаній прогоняетъ изъ головы эту мысль. Что было бы съ наукой, если бы такое обращеніе съ мыслями было бы возведено въ принципъ? Пришла Ньютону мысль о тяготѣніи, а онъ, вмѣсто того, чтобы остановиться на ней, изслѣдовать ее до конца, вытѣснилъ бы ее какимъ-нибудь „мыслительнымъ процессомъ". И еслибъ всѣ эту мысль вытѣсняли такимъ же образомъ изъ своей головы,—мы бы до сихъ поръ не знали бы ничего о тяготѣніи. Получается нѣчто въ высшей степени странное. Вытѣснять мысль о смерти мыслительнымъ процессомъ — это научно. Останавливаться же на этой мысли серьезно, съ цѣлью выясненія ея до конца — это патологично. Вотъ до какихъ абсурдовъ могутъ дойти гг. представители „точной" науки. Это уже не простое игнорированіе факта, передъ всѣми находящагося, самими представителями науки. Это предписаніе во имя науки *и другимъ не замѣчать* этого факта.

Тургеневъ однажды въ кружкѣ писателей, собравшихся у В. Гюго, такъ выразился о своемъ отношеніи къ смерти: „Я не имѣю никакого представленія о смерти, кромѣ того, что она мнѣ кажется чѣмъ-то очень далекимъ и неяснымъ, чему я никакъ не могу придать опредѣленной физіономіи". Это отношеніе добросовѣстно-безразличное. Каждый человѣкъ въ правѣ не думать, если онъ *хочетъ* не думать. Но если, не довольствуясь этимъ, онъ захочетъ и другихъ заставить не думать, то очевидно такое недуманіе признается верхомъ возможной мудрости. Наука устами Токарскаго го-

воритъ о смерти не думайте, вытѣсняйте мысли о ней какимъ-нибудь мыслительнымъ процессомъ, ибо внимательное взглядываніе въ фактъ смерти, есть случай навязчивой идеи, который представляетъ собой уже явленіе п а - т о - л о - г и ч е с к о е!

Не думать—это легко, и подобная тактика въ отношеніи смерти въ широкихъ размѣрахъ примѣняется и людьми, живущими изо дня въ день, и людьми, подъ видомъ науки заслоняющимися мыслительными или даже житейскими процессами отъ мучительныхъ *фактовъ*. Въ результатѣ получается только ложь, жизненная и теоретическая неправда, ибо не думать о смерти—это не значитъ еще уничтожить ее, какъ фактъ. Смерть остается, но къ безсилію передъ нею, прибавляется еще недостойно—лживое отношеніе.

Только этимъ лживымъ отношеніемъ, покоящимся на мнимомъ авторитетѣ точной науки, можно объяснить въ высшей степени странное явленіе, что фактъ смерти, этотъ универсальнѣйшій и самый значительный фактъ человѣческой жизни не получаетъ никакого мѣста, и никакого истолкованія въ представленіяхъ соціализма и анархизма о будущемъ. Всѣ мелочи предусмотрѣны. Порча механическихъ двигателей, и та берется въ расчетъ. Дѣлаются вычисленія сколько минутъ общественнаго труда нужно положить на то, чтобы возмѣщать изнашиваніе машинъ при работѣ. Но изнашиваніе человѣческаго тѣла отъ неумолимаго теченія времени, безжалостное и всеобщее уничтоженіе человѣческихъ организмовъ смертью—на этомъ никто не хочетъ остановиться,—объ этомъ предпочитаютъ просто молчать и по рецепту Токарскаго просто *не думать*.

Но мы объ этомъ молчать не можемъ и, конечно, подумавъ, постараемся разобраться въ фактѣ смерти и въ томъ, насколько фактъ смерти соединить съ обычными рѣчами объ освобожденіи человѣчества.

Разсмотримъ фактъ смерти со стороны субъективнаго отношенія къ нему человѣка и со стороны объективнаго его значенія.

Я оставлю безъ разсмотрѣнія всю психологическую сторону дѣла. Къ смерти возможны безконечно различныя отно-

шенія, полныя страха, боязни, ужаса, отвращенія. Корень подобнаго рода отношеній лежитъ въ *эгоизмѣ*, въ сосредоточенной привязанности преимущественно *къ себѣ*, въ любви къ *эмпирической* сторонѣ своей личности. Но эгоизмъ всегда можетъ быть усиліемъ воли *превзойденъ*. И указать пути, по которымъ возможно побѣждать въ себѣ эгоизмъ—это задача морали. Поэтому я, не касаясь этой стороны дѣла, остановлюсь только на томъ принципіальномъ вопросѣ, который совершенно не зависитъ отъ того, на какой ступени моральной лѣстницы я стою, и который остается вопросомъ даже въ томъ случаѣ, если я абсолютно убью въ себѣ эгоизмъ и буду спрашивать только о томъ, какое значеніе имѣетъ фактъ смерти не для меня лично, а въ *должномъ* и совершенно безкорыстномъ моемъ отношеніи къ міру и людямъ.

Я умираю. Чѣмъ можетъ быть осмыслена моя смерть? Ибо если въ ней нѣтъ никакого смысла, то нѣтъ смысла и во всей моей жизни. Я занимаюсь общественной дѣятельностью, но если я умираю, для *меня* всѣ результаты моей работы уничтожаются. Для меня ихъ уже нѣтъ, и для того, чтобъ не лишить ихъ всякаго смысла и всякаго значенія я долженъ признать, что, потерянные для меня, они не теряются для тѣхъ, кто остается и живетъ послѣ меня. Я—преходящій моментъ въ процессѣ, но если я хочу осмыслить свою преходящую жизнь, я долженъ искать этотъ смыслъ, въ процессѣ, взятомъ, какъ *сумма* всѣхъ такихъ преходящихъ моментовъ. Я—ничтожная частица какого-то громаднаго общественнаго *цѣлаго*, передъ жизнью котораго моя короткая личная жизнь кажется ничтожной и такой, которая должна быть принесена въ жертву. Но все же я спрашиваю о смыслѣ моей жизни, объ оправданіи моей смерти, и если ихъ нѣтъ во мнѣ, какъ ничтожной частицѣ и *только* частицѣ, то и смыслъ моей жизни и оправданіе моей смерти *должны* заключаться въ томъ цѣломъ, частицей котораго я являюсь. Ибо если ихъ нѣтъ и въ цѣломъ и въ частицѣ, то ихъ нѣтъ и *вовсе*. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, моя жизнь, какъ частица, приносится въ жертву цѣлому. Эта жертва можетъ оправдаться лишь въ

томъ случаѣ, если она *доходитъ до назначенія*. Если цѣлое обладаетъ той реальностью и той жизнью, которыми я, какъ частица, не обладаю. Ибо жертвовать въ пустоту, жертвовать только для того, чтобы жертвовать, не заботясь о результатахъ, къ какимъ приведетъ моя жертва, это значитъ переносить центръ тяжести съ объекта, во имя котораго жертва только и можетъ производиться, *на субъектъ*. Психологически представимо, что я приношу себя въ жертву неизвѣстно чему, склоняюсь жертвенно передъ *Невѣдомымъ*, но тогда невѣдомое признается не только невѣдомымъ, но и безконечно *реальнымъ*. Тогда въ самой жертвѣ, *какъ таковой* я нахожу смыслъ своей жизни и оправданіе своей смерти, но тогда и всю свою общественную дѣятельность со всѣми ея опредѣленными формами и программами я долженъ признать чѣмъ то внѣшнимъ, второстепеннымъ, *неглавнымъ* и говорить не о томъ, что смыслъ моей жизни въ работѣ на приближеніе соціалистическихъ идеаловъ, а о томъ, что смыслъ этотъ въ *жертвѣ, какъ таковой*. Но говорить это—это значитъ итти въ разрѣзъ со всѣмъ, что говоритъ соціализмъ, и это будетъ проповѣдь морально-религіознаго дѣйствія, а не то „активное“ служеніе обществу, котораго хочетъ соціализмъ.

Такимъ образомъ объективное оправданіе моей смерти, я могу искать только въ томъ цѣломъ, частицей котораго я являюсь.

Что же такое это цѣлое при наличности смерти? Въ какомъ видѣ оно должно мнѣ представиться, если я захочу опредѣлить его объективно? Одно несомнѣнно: если я, умирая, теряюсь безслѣдно, то въ такомъ же точно положеніи находятся и *всѣ* люди. Всѣ, умирая, теряютъ связь съ этимъ цѣлымъ и отрываются отъ него. Въ чемъ же тогда состоитъ это цѣлое? Допустить, что не всѣ находятся въ такомъ положеніи, какъ я, я не могу. Другіе могутъ находиться въ иномъ положеніи, чѣмъ я, лишь при одномъ условіи: если они будутъ иной *природы*, чѣмъ я, если они будутъ безсмертными въ то время, какъ я буду смертенъ. Но это нелѣпость. Въ такомъ случаѣ изъ чего будетъ слагаться *цѣлое*? Если цѣлое представлять въ видѣ простой

ариѳметической *суммы* всѣхъ отдѣльныхъ человѣческихъ жизней, то получается двойное затрудненіе: во-первыхъ, изъ суммы разрозненныхъ частицъ самопроизвольно цѣлаго получиться не можетъ. Нуженъ связующій центръ, нужна посторонняя частямъ этимъ *сила*, которая бы множество ихъ слила въ единство; во-вторыхъ, каждая человѣческая жизнь, обрываясь со смертью, переходитъ въ ничто. Если это цѣлое состоитъ только изъ жизней, обрываемыхъ смертью, тогда значитъ эта сумма—есть сумма нулей, а сумма нулей изъ какого множества она не состояла—равна *только нулю*. Такимъ образомъ если со смертью для меня порываются всѣ связи съ цѣлымъ, то цѣлаго, которое могло бы составиться только изъ такихъ человѣческихъ жизней, какъ моя, вовсе и нѣтъ. При такомъ допущеніи цѣлое, изъ-за котораго я долженъ жить, и которымъ должна быть оправдана моя смерть есть *пустое ничто*, т. е. ни жизнь моя, ни смерть моя *такой* идеей цѣлаго осмыслена быть не можетъ. Цѣлое становится цѣлымъ при допущеніи, что оно не механическая сумма отдѣльныхъ частей, отдѣльныхъ жизней, а живой *организмъ*, обладающій своимъ особымъ центромъ жизни, объединяющимъ въ себѣ отдѣльные проблески жизни во всѣхъ формахъ существованія. Къ этой мысли необходимо приводитъ логика. Характерно къ ней пришелъ самъ отецъ позитивизма О. Контъ въ своемъ ученіи о человѣчествѣ, какъ о *единомъ существѣ*. Но можно ли ограничиться однимъ этимъ признаніемъ? Если я, умирая, навсегда отрываюсь отъ жизни этого цѣлаго, и если всѣ люди подобно мнѣ, умирая, отрываются отъ жизни этого цѣлаго, тогда цѣлое это, единое великое существо является *трансцедентнымъ* въ отношеніи людей. Но трансцедентное людямъ — не можетъ быть тѣмъ цѣлымъ, *органической* частью въ которое входятъ люди. Такое цѣлое можетъ существовать внѣ и безъ людей, но оно будетъ цѣлымъ только въ отношеніи себя, а для людей цѣлымъ оно явиться не можетъ. Ибо люди входятъ въ него не какъ части, органически необходимыя, а какъ случайные элементы, которые могутъ быть, а могутъ и не быть. Чтобъ составлять необходимую часть въ жизни этого Единаго Цѣлаго,

я долженъ быть связанъ съ ними не случайными связями, а органически необходимыми. Но такъ связанъ я могу быть лишь въ одномъ случаѣ, если, умирая, я связи съ этимъ цѣлымъ не теряю, *если смерти*, какъ уничтоженія моей личной жизни, *не существуетъ*.

Такимъ образомъ, если смерть разсматривать со стороны субъективнаго отношенія къ ней человѣка, то нужно признать: или что она дѣлаетъ *безсмысленной* всякую работу, всякую общественную дѣятельность, направленную на созиданіе общественнаго цѣлаго, или же, чтобъ избѣжать этой безсмысленности, нужно признать, что смерти, какъ уничтоженія личной жизни, вовсе не существуетъ.

Теперь разсмотримъ фактъ смерти со стороны его объективнаго значенія и тогда сдѣлаемъ тѣ выводы, которые вытекаютъ для сужденія о конечныхъ идеяхъ соціализма и анархизма.

Тугань-Барановскій, сводя въ одно указаніе различныхъ теоретиковъ соціализма, рисуетъ такую картину будущаго:

...Исчезнетъ грубая физическая власть человѣка надъ человѣкомъ, а слѣдовательно, исчезнетъ все то обаяніе, которое теперь связано съ этой властью... Освободившись отъ притупляющаго чрезмѣрнаго труда, человѣчество преобразится и одухотворится. По прежнему надъ нашей головой будетъ простираться звѣздное небо, по прежнему будетъ шумѣть лѣсъ, природа сохранитъ свою прежнюю прелесть и всѣ свои тайны: для познанія навсегда обезпеченъ неисчерпаемый матеріалъ, такъ же какъ и для воспріятія красоты... умственная культура станетъ всеобщимъ достояніемъ... Мыслители и художники станутъ героями и вождями будущаго человѣчества. Интересъ къ познанію и эстетической дѣятельности возрастетъ въ чрезвычайныхъ размѣрахъ и заполнитъ собой всю жизнь людей, возвышающихся надъ уровнемъ посредственности. Опять появятся люди той поразительной душевной красоты и той умственной мощи, которые характеризуютъ Возрожденіе—эту раннюю весну современной исторіи, люди вродѣ Леонардо-да-Винчи или Микель-Анджело, передъ которыми наше время кажется такимъ

грубымъ, варварскимъ и жалкимъ...“ Эту картину можно дополнить словами изъ рѣчи извѣстнаго химика *Бертло*, произнесенной имъ на банкетѣ въ Парижѣ. „Земля не будетъ болѣе исковеркана тѣми геометрическими фигурами, которыя теперь чертитъ на ней земледѣліе; она превратится въ одинъ сплошной садъ, въ которомъ будутъ свободно произрастать трава, цвѣты, кустарники и лѣса, и въ этомъ саду человѣческій родъ будетъ жить въ изобиліи, какъ это было по преданію, во время золотого вѣка“.

Вилльямъ Моррисъ въ своей „утопіи“ рисуетъ картины будущаго въ еще болѣе увлекательныхъ краскахъ. Есть что-то загадочно—властное въ этихъ мечтахъ о будущемъ человѣчества. Я всей душою вѣрю, что въ будущемъ человѣчество ждетъ нѣчто такое, что въ тысячи, въ милліоны, въ безконечное число разъ болѣе прекрасно, болѣе углубленно, болѣе радостно, болѣе ослѣпительно, чѣмъ все, что можетъ представить себѣ человѣкъ въ самыхъ смѣлыхъ и возвышенныхъ мечтахъ своихъ, вѣрю въ это, какъ въ *дѣйствительность*, на насъ надвигающуюся и все же думаю, что одно дѣло дѣйствительность, другое—*иллюзіи*. Все, что говоритъ Туганъ - Барановскій, все, что говорятъ писатели—соціалисты о будущемъ человѣчества—это только *иллюзіи*, иллюзіи потому, что во всѣхъ подобныхъ мысляхъ о будущемъ отсутствуетъ мысль *о смерти*. Всѣ эти картины разсыпаются въ прахъ, разлетаются пылью, какъ только къ нимъ подойдешь не только съ отвлеченной мыслью о смерти, но и съ реальнымъ представленіемъ всей ея уничтожающей и отвратительной силы.

Земля будетъ садомъ. Люди будутъ жить въ изобиліи. А что же будетъ со смертью? Что, исчезнетъ она въ этомъ саду, прекратитъ свое дѣйствіе среди изобилія? Всѣ знаютъ, что нѣтъ. Смерть по-прежнему останется въ силѣ. И на фонѣ достигнутыхъ результатовъ, на фонѣ довольства и отсутствія безпокойства за завтрашній день, только ярче, только безжалостнѣе подчеркнется вся безсмысленность, вся нелѣпость, вся ненужность и весь ужасъ смерти. Теперь слишкомъ много причинъ, не считать смерть вопросомъ близкимъ и необходимымъ для себя. Человѣчество слишкомъ

глубоко захвачено бѣдствіями и страданіями, чтобъ особенно изумляться смерти. Теперь, надежды на будущее, которыми живетъ лучшая часть человѣчества, и которыя какъ-то захватываютъ и всѣхъ отдѣльныхъ людей, представляютъ изъ себя нѣчто очень неопредѣленное.

Развитіе силъ человѣческихъ мыслится безграничнымъ, прогрессъ безконечнымъ. Вниманіе обращается на то, что человѣчество почти съ каждымъ годомъ взбирается на новую ступень существованія и совершенно забывается то, что каждая новая ступень открываетъ и новыя границы, которыя не перейти, ставитъ предѣлы, изъ которыхъ не выйти. Такимъ образомъ, когда земля будетъ садомъ, когда слишкомъ многое изъ того, что сейчасъ переносится въ будущее, будетъ достигнуто, тогда неопредѣленность, которою обманываются сейчасъ люди, должна исчезнуть и люди, лицомъ къ лицу увидятъ себя передъ *смертью*,—этой бездной, которая неожиданно разверзается въ извѣстномъ моментѣ жизненнаго пути и каждаго отдѣльнаго человѣка, и всего человѣчества, взятаго въ цѣломъ. Теперь этотъ вопросъ во всей своей остротѣ стоитъ только передъ тѣми немногими людьми, которые не боятся смотрѣть на дѣйствительность безъ всякихъ успокоительно-преломляющихъ призмъ. Тогда, позволительно думать, та истина, которая открывается пока только отдѣльнымъ людямъ—сдѣлается „достояніемъ всѣхъ“. И что же сможетъ сдѣлать человѣчество, живущее въ саду, противъ смерти? *Ничего.* Въ отношеніи смерти у него полное безсиліе, полная безпомощность, полная невозможность что-нибудь сдѣлать и что-нибудь предпринять. Пусть появятся мудрецы, подобные древнимъ стоикамъ, которые будутъ учить словами и примѣромъ спокойно относиться къ смерти, одерживать *субъективную побѣду* надъ нею. Не будутъ-ли рѣчи ихъ похожи на тѣ рѣчи, которыя во множествѣ приходилось слушать угнетеннымъ рабочимъ отъ лживыхъ и лицемѣрныхъ представителей мнимаго христіанства? Тѣ говорили: терпите, терпите, терпѣніемъ побѣждайте тяжесть вашего внѣшняго положенія и эти мудрецы будущаго въ отношеніи смерти могутъ только сказать: терпите, терпите, терпѣливымъ отношеніемъ побѣждайте

тяжесть смерти. Почему-же терпѣніе передъ тяжелыми внѣшними условіями было съ справедливымъ гнѣвомъ отвергнуто соціализмомъ, и почему терпѣніе передъ смертью, этимъ явленіемъ, по тяжести безконечно превосходящимъ всѣ самыя худшія внѣшнія условія,—будетъ соціализмомъ возведено въ принципъ или по крайней мѣрѣ одобрено и рекомендовано для всеобщаго употребленія? Развѣ это не рѣзкая перемѣна тактики? Развѣ это не примиренчество въ главномъ? Стоики умирали спокойно, но они не только умирали спокойно, они жили всю жизнь, *готовясь* къ смерти. Центръ тяжести изъ жизни переносился на смерть. И они ужъ не говорили, и не могли говорить о какомъ бы-то нибыло *прогрессивномъ* развитіи жизни. Жизнь сама по себѣ теряла всякую цѣну для нихъ и становилась только ступенью къ безбоязненной и спокойной смерти. Смерть была *главнымъ* событіемъ жизни. Все это самымъ кореннымъ образомъ отвергается всей психологіей соціализма. Въ немъ живетъ вѣра *въ жизнь*, а не въ смерть, душа энергически настроеннаго борца, а не душа квіэтистическаго созерцателя, активное отношеніе къ міру, а не пассивное. Такимъ образомъ появленіе подобныхъ мудрецовъ смерти можетъ знаменовать только эпоху *внутренняго разложенія соціалистической идеи*. Туганъ - Барановскій говоритъ: „современный соціализмъ есть не что иное, какъ радостный, бодрый, проникнутый глубокой любовью и вѣрой въ людей гуманизмъ, воскрешеніе свѣтлаго призрака ранней итальянской весны“. Но когда появятся мудрецы смерти, отъ этого соціализма, проникнутаго бодрымъ, радостнымъ и активнымъ настроеніемъ—*ничего* уже не останется. Онъ разложится и погибнетъ. Такимъ образомъ смерть не только внѣшне, но и внутренно восторжествуетъ надъ нимъ.

Но проблематическая возможность одержать субъективную побѣду надъ смертью—не должна закрывать нашихъ глазъ на реальную смерть, какъ внѣшній, но универсальный и объективный фактъ нашей жизни. Мы уже говорили, что этотъ фактъ неустранимый, неумолимо приближающійся къ каждому человѣку только ярче обрисуется на фонѣ достигнутыхъ результатовъ. Люди будутъ безсильны противъ

него. Что-бы ни дѣлали, что-бы не предпринимали,—они ничего сдѣлать *не смогутъ*. Все достигнутое должно показаться ничтожнымъ передъ этимъ грандіознымъ, надъ всѣмъ возвышающимся фактомъ. Все должно отойти на второй планъ. Все вниманіе устремиться только на смерть. Пусть стадная часть человѣчества довольствуясь изобиліемъ будетъ жить въ иллюзіи, и, бродя по саду — землѣ, будетъ видѣть только цвѣты, срывать только плоды, и проходить мимо труповъ, не задѣваясь нисколько, равнодушно и холодно. Такихъ людей множество и теперь, но лучшіе люди, тѣ, которые не поддаются иллюзіямъ въ настоящее время, тѣ, которые смотрятъ въ будущее, должны будутъ цѣликомъ быть захваченными торжествующимъ фактомъ смерти. Они подвергнутъ добросовѣстному изслѣдованію этотъ фактъ, они посвятятъ выясненію его всѣ душевныя силы,— они сорвутъ съ своихъ глазъ всѣ повязки, взглянутъ на дѣйствительность прямо и безбоязненно и тогда *въ сознаніи лучшей части человѣчества,* т.-е. той самой, которая вѣритъ сейчасъ и въ соціализмъ и въ прогрессъ, должна въ самыхъ яркихъ, въ самыхъ неумолимыхъ краскахъ обрисоваться картина какъ разъ *противоположная* той, которую рисуетъ Туганъ—Барановскій и другіе соціалисты, желавшіе взглядываться въ будущее. Все свѣтлое, радужное, беззаботное и энергичное должно-быть выкинуто изъ представленій о будущемъ. Пусть внѣшнія *формы* жизни цѣликомъ останутся тѣ, о которыхъ говоритъ теперешній соціализмъ въ своихъ построеніяхъ будущаго. Орудія производства, земля будутъ достояніемъ всего общества. Трудъ будетъ легкимъ и равномѣрно-распредѣленнымъ. У всѣхъ будетъ досугъ и возможность самостоятельной жизни. *Рисунокъ* въ картинѣ останется тотъ же, но *краски, тона* будутъ абсолютно другими, если смерть обрисуется въ сознаніи человѣчества во всемъ колоссальномъ объемѣ своего значенія. Тогда вмѣсто веселой жизни итальянскихъ городовъ эпохи Возрожденія, какъ это хочетъ представить Туганъ—Барановскій, должна нарисоваться такая картина. Смертью уничтожается каждый человѣкъ. Не просто уходитъ, не просто исчезаетъ въ какой-то туманно-розовой дали, а съ отвратительнымъ гніе-

ніемъ становится добычей могильныхъ червей. Смерть каждую минуту подходитъ ближе и ближе къ своей жертвѣ. Каждое пережитое мгновеніе приближаетъ къ ней человѣка. О чемъ бы человѣкъ не думалъ, что-бы ни дѣлалъ, чѣмъ бы ни занимался, теченіе жизни несетъ его къ пропасти, которая поглотитъ его неминуемо. Всѣ люди находятся въ такомъ положеніи. Всѣ—обреченныя жертвы. Всѣ никуда не уйдутъ отъ неминуемаго и отвратительнаго конца своего. Смерть есть реальность такая громадная, такая всепоглощающая, что жизнь передъ ней блѣднѣетъ, становится только видимостью. Жизнь сегодня есть, а завтра не будетъ. Смерть же есть сегодня, но будетъ и завтра, будетъ *всегда*. То, что взяла она, къ жизни уже не возвратится. То останется въ вѣчномъ ея обладаніи. То же, что отвоевывается жизнью, находится въ обладаніи жизни только *мгновенія*. Но если смерть настолько реальнѣе жизни, насколько вѣчность больше мгновеній, тогда существенная черта жизни, есть приближеніе къ смерти. *Жизнь превращается въ умираніе*. Но смерти не хочетъ ни одинъ человѣкъ. Ей покоряются, ей подчиняются, ее зовутъ иногда потому, что жизнь безъ смысла становится невыносимымъ страданіемъ, но смерти, какъ смерти, не хочетъ никто. Къ смерти насъ тянутъ законы природы, которые созданы не нами и не находятся въ соотвѣтствіи съ нашей волей. А потому смерть наша всегда приближается къ намъ *противъ нашей* воли. Мы не хотимъ ея, а она приближается. Мы бы сдѣлали все, чтобы прогнать ее, но она, смѣясь надъ нашимъ безсиліемъ, приходитъ и свершаетъ съ нами то, что намъ противно и страшно. Такимъ образомъ смерть всегда смерть *насильственная*. Смерть же насильственная есть *смертная казнь*. Земля будетъ садомъ, люди будутъ жить въ изобиліи, но каждаго человѣка будетъ ждать смертная казнь, универсальная, міровая, совершаемая безъ исключеній надъ всѣми живущими и надъ всѣмъ живущимъ. Жизнь тогда будетъ уже не простымъ умираніемъ. Жизнь тогда сведется къ ожиданію каждымъ человѣкомъ своей *казни*. Тогда всѣ изъ свободныхъ людей, освободившихся отъ всякихъ видовъ внѣшняго рабства, превратятся въ безповоротно *приговоренныхъ*. Не жить они будутъ,

а ожидать, когда ихъ повлекутъ къ *эшафоту*. Тогда и земля, обращенная въ садъ, станетъ не мѣстомъ веселья и радостной жизни, а мѣстомъ унынія, страха, отчаянія и главное, *заключенія*. Это будетъ тюрьма, устроенная столь гигіенически и удобно, что людямъ не останется ничего желать въ этомъ направленіи, и въ этой тюрьмѣ будутъ гулять и жить „на свободѣ“—*только* приговоренные къ смерти. Это тюрьма, потому что выхода изъ нея нѣтъ. Выходъ одинъ—лишить себя жизни. Но лишить себя жизни – это значитъ не миновать смертной казни, а согласиться принять ее раньше другихъ, согласиться самому быть своимъ палачемъ. Срокъ ожиданія будетъ разный у разныхъ людей, но это будетъ только *срокъ ожиданія*. И такъ, вотъ во что должна превратиться жизнь, когда смерть дѣйствительно, будетъ принята во вниманіе. Вмѣсто радостной и свободной жизни получается ужасающая, но единственно соотвѣтствующая дѣйствительности, картина: люди бродятъ по землѣ, превращенной въ цвѣтущій садъ и всѣ приговоренные къ насильственной казни, ожидаютъ когда приблизится къ нимъ невидимый палачъ и безжалостно ихъ придушитъ. Отъ него никуда не уйти. Сытаго, голоднаго, плачущаго, веселящагося, младенца и старика, бездарность и генія—всѣхъ отыщетъ неумолимая рука и отыскавъ, приведетъ въ исполненіе приговоръ.

Что же на это могутъ сказать соціалисты? Что они могутъ противопоставить универсальному факту смерти? Я утверждаю, что *ничего*. То, что они говорятъ на прямо поставленные вопросы о смерти можетъ быть названо только жалкимъ растеряннымъ лепетомъ. Въ литературѣ эти вопросы просто *обходятъ*. По совѣту Токарскаго вопросы о смерти вытѣсняются какими-нибудь „мыслительными“ или иными „процессами“. Соціалисты могутъ сказать, что на смерть люди, поставленныя въ лучшія условія, будутъ обращать вниманія еще меньше, чѣмъ люди, живущія теперь. Они не будутъ чувствовать своей приговоренности къ смерти. Но вѣдь это значитъ, что люди эти будутъ жить въ иллюзіи, т. е. *въ обманѣ*. Они не будутъ только *чувствовать*, что они приговорены къ смертной казни, но отъ этого самый

фактъ приговоренности остается фактомъ. Для того, чтобъ его уничтожить, нужно стать сильнѣе, чѣмъ смерть, получить власть надъ нею, уничтожить фактически ея господство. Можетъ ли разсчитывать когда-нибудь соціализмъ на побѣду надъ смертью? Можетъ ли наука когда нибудь сдѣлать людей безсмертными? На это нужно сказать: *никогда*. Въ просторѣчіи, — на митингахъ и собраніяхъ горячія головы высказываютъ иногда мысль, что наука уничтожитъ смерть, это кажется теперь невозможнымъ, но вѣдь и раньше почиталось совершенно невозможнымъ много вещей, которыя превосходно теперь осуществлены наукой. Прогрессъ науки безконеченъ, почему же не надѣяться, что наука когда-нибудь возвысится и надъ смертью. На это нужно сказать прежде всего, что въ наукѣ нѣтъ *никакихъ* положительныхъ указаній на возможность уничтожить фактъ смерти. Что же касается безконечности въ прогрессѣ науки—то надежда на этотъ безконечный прогрессъ не можетъ ничего дать потому, что наука, развиваясь и прогрессируя въ извѣстномъ смыслѣ безконечно, въ то же время все съ большей опредѣленностью познаетъ и *свои границы*. Схоластикамъ XIII вѣка даже не снилось, что за океаномъ находится страна, именуемая теперь Америкой. И однако, страна эта открыта. Но слѣдуетъ ли отсюда, что мы можемъ теперь мечтать о томъ, что явится новый Колумбъ и откроетъ Америку № 2-ой? Конечно, не слѣдуетъ. Весь земной шаръ изслѣдованъ настолько, что ожидать открытія 2-ой Америки могутъ люди, незнакомые съ географіей. Такіе сюрпризы, какіе были мыслимы въ XV вѣкѣ совершенно не возможны въ XX. Ученые среднихъ вѣковъ не мечтали о спектральномъ анализѣ, но за то они мечтали о философскомъ камнѣ; у нихъ и мысли не было о противодифтеритной сывороткѣ, но за то они вѣрили въ возможность открытія панацеи. Развиваясь въ одномъ направленіи, наука *сгуживалась* въ другомъ и откидывала все то, что было чуждо ея принципамъ. Говорить о возможности для науки уничтожить смерть—это значитъ игнорировать *принципы* науки. Къ вопросу о смерти вплотную подошелъ европейски извѣстный проф. Мечниковъ. И чтоже, къ какимъ результатамъ пришелъ онъ? Объ унич-

тоженіи смерти онъ даже и не мечтаетъ. Онъ мечтаетъ только о безболѣзненной физіологической старости, въ которой бы появлялся заглушенный теперь инстинктъ смерти,—и дѣлалъ бы такимъ образомъ смерть столь желанной и пріятной, сколь пріятенъ для живущихъ людей *сонъ*. Мечниковъ мечтаетъ о томъ, что при нормальномъ теченіи жизни, человѣкъ, насытившись днями, самъ будетъ хотѣть умирать,— и такимъ образомъ смерть потеряетъ все, что есть въ ней ужаснаго. Я намѣренно говорю, что Мечниковъ только *мечтаетъ*. Когда онъ говоритъ подобныя вещи, въ немъ говоритъ не ученый, спеціалистъ и знатокъ въ своей области, а слабый старикъ, грезящій безъ всякихъ логическихъ основаній о безболѣзненной старости. Чтобы знать *научную* цѣну мысли о физіологической старости, я позволю привести еще одну мысль Мечникова, которая высказывается непосредственно за мыслью о физіологической старости. Мечниковъ съ тѣмъ же авторитетно—научнымъ видомъ, съ которымъ онъ говоритъ о протоплазмахъ, высказываетъ и такую мысль: „Молодые люди большей частью очень дурные политики... они большей частью приносятъ много вреда... Въ будущемъ трудныя и сложныя обязанности политиковъ будутъ поручены старикамъ. Тогда значительно усовершенствуется политика и правосудіе, современные недостатки которыхъ объясняются отсутствіемъ еще прочныхъ основъ". И *эта* мысль, подобно мысли о физіологической старости высказывается въ формѣ непосредственнаго вывода изъ данныхъ біологической науки. Позволительно подобные выводы основанные на „научныхъ" данныхъ, признать не имѣющими къ наукѣ *никакого* отношенія.

Итакъ, смерть, еще больше, чѣмъ время лишаетъ людей всякой свободы. Если я — приговоренный къ смерти, если черезъ опредѣленное время отъ меня въ этомъ мірѣ ничего кромѣ лопуха не остается, о какомъ же освобожденіи человѣчества черезъ меня можетъ быть рѣчь? Я, на которомъ лежитъ призваніе утвердить въ нашемъ мірѣ необ-

ходимости — царство свободы, по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ противъ всякаго моего желанія, выкидываюсь за шиворотъ изъ этого міра явленій. Что же при такихъ условіяхъ я могу сдѣлать? Ровно ничего. Если смерть будетъ господствовать вѣчно, если она безъ всякихъ усилій будетъ всегда цѣлыми массами высылать за предѣлы міра явленій, всѣхъ агентовъ изъ царства свободы, желающихъ путемъ революціи свергнуть царство необходимости,—тогда очевидно дѣло свободы, дѣло реальнаго освобожденія человѣчества, нужно считать проиграннымъ *окончательно*. Смерть дѣлаетъ совершенно призрачнымъ и мнимымъ всякое утвержденіе свободы на нашей землѣ. Но въ такомъ случаѣ передъ нами ставится новая дилемма: *или* свобода, *или* смерть.

Если считать смерть неуничтожимой и такой, которая всегда будетъ торжествовать свою побѣду надъ человѣкомъ, тогда съ мыслью объ освобожденіи нужно разстаться совсѣмъ. Свобода и смерть несоединимы абсолютно, потому что смерть есть величайшее изъ всѣхъ возможныхъ видовъ рабства.

Если же вѣрить въ возможность *побѣды* надъ смертью, если стоять на почвѣ міровоззрѣнія, которое принципіально считаетъ смерть фактомъ, господство котораго будетъ сломлено, — только тогда можно вложить истинный смыслъ въ понятіе свободы, только тогда можно оправдать идею свободы дѣланія, безъ которой, какъ я показалъ уже раньше, говорить объ *освобожденіи* является дѣломъ безсмысленнымъ.

Такимъ образомъ, если разсмотрѣніе субъективнаго отношенія къ смерти привело насъ къ выводу, что оно осмысленно можетъ быть лишь при допущеніи *факта безсмертія*, то разсмотрѣніе объективнаго значенія смерти, привело насъ къ выводу, что для того, чтобы осмыслить процессъ освобожденія и сдѣлать возможнымъ водвореніе свободы въ царствѣ причинности и обусловленности, необходимо, признать возможность *уничтоженія смерти, какъ внѣшняго факта*.

Соціализмъ и анархизмъ или должны отказаться отъ всѣхъ словъ о свободѣ, отъ всѣхъ стремленій своихъ реально освободить человѣчество или же перейти на почву такого

міровоззрѣнія, которымъ осмысливается и обосновывается и возможность факта безсмертія, и возможность уничтоженія смерти, какъ внѣшняго факта.

Такое міровоззрѣніе открывается въ христіанствѣ.

В. Эрнъ.

БИБЛИОТЕКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.

Печатня А.И.Снегиревой Москва. (5230)